Личный опыт соучастия в истории

Александр Владимирович Воронель

SHOUT
SHARE
IT

-
- НЕ ВЕСЬ НАРОД БЕЗМОЛВСТВОВАЛ
- ЛЮДИ ИЛИ НЕ-ЛЮДИ?
- БОЛЬШОЙ БЕСПОРЯДОК В ГУМАННОМ МИРЕ
- КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ
- АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ
- ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕМОН И РОССИЙСКАЯ СУДЬБА
- ЭДВАРД ТЕЛЛЕР И МИРСКАЯ СЛАВА
- ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА - ПРИЧИНА ИЛИ ПРЕДЛОГ ?
- "МЫ" И "ОНИ"

Аннотация:

Подлинная ценность книги не в фиксации событий (в самом деле, незабываемых), а в способе их осмысления. В феноменальном умении автора подняться над ними на такую высоту, с которой они образуют картину, доступную анализу. Кому бы не хотелось достичь такой точки обзора!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СОУЧАСТИЯ В ИСТОРИИ

НЕ ВЕСЬ НАРОД БЕЗМОЛВСТВОВАЛ

На днях я получил письмо из далекого Челябинска от Георгия Ченчика (брата Олимпийской чемпионки по прыжкам Таисии Ченчик) - человека, с которым расстался около 60-и лет назад и до сих пор не знал, жив ли он. Летом 1946 года мы просидели два месяца в одной камере внутренней тюрьмы челябинского ГБ.

Так давно это было... мне даже немного неловко признаться, что я такой старый. Но тогда мне было только 14 лет, а ему 18, и я воспринимал его как взрослого. Оба мы были посажены за "антисоветскую деятельность", и конечно на воле не подозревали ни о существовании друг друга, ни о многих других подпольных, молодежных кружках, возникавших в те годы по всей стране.

В России, да и в Израиле, теперь часто поминают сталинские репрессии, но, в основном, 30-х годов, когда эти репрессии относились к людям, вовсе неповинным в сознательной "антисоветской деятельности". Это были и в самом деле, так называемые, "неоправданные репрессии".

Невольно подумаешь: что же это была за страна, если при таком свирепом режиме, когда "запрещалось все - даже то, что разрешалось", все репрессии были неоправданные. Не означает ли это, что никто и не сопротивлялся? И "народ безмолвствовал". Поэт Наум Коржавин так и писал об этом мертвом (вернее мертвящем, но все же далеко, далеко не мертвом) времени:

Можем рифмы нанизывать
Посмелее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами...

Но это неправда... Не только смелые рифмы занимали молодых людей в те годы. И женщины за ними тянулись так же бесстрашно, беззаветно... О Сенатской площади, конечно, в 50-е не могло быть и речи, как и об увенчании...

В своем письме Георгий пишет, что, кроме него, из их кружка "Социал-демократической молодежи", и из тогдашнего местного поэтического общества "Снежное вино" никого уже не осталось в живых. Но недавно в городе была организована

выставка "Неформалы 50-х" и студенты университета приходили брать материалы для своих рефератов. Посетители постарше признавались, будто не могли себе и представить, что "среди окружающей их молодежи были сверстники, которые думали по-другому". В России, к сожалению, все еще принято говорить, будто люди, которые не верят пропаганде и сопротивляются насилию, "думают по-другому" - "инакомыслящие". После почти 20 лет либерализации можно бы уже понять, что суть не в том, что "по-другому", а в том, что вообще "думают". Но это, наверное, займет еще сколько-то лет.

Георгий просил прислать для их выставки описание нашей подпольной группы и дальнейших судеб ее участников. Я и спешу выполнить его просьбу, надеясь, что одновременно это будет моим посильным вкладом в празднование радостной даты - юбилея смерти И. В. Сталина.

Первоначально нас было только двое друзей - я, Шура Поляков, и Миша Ульман, который был на целый год младше меня, но намного более начитанный. В то время я еще наслаждался Жюлем Верном, а он уже про- читал чуть ли не всех русских классиков и даже Ги де Мопассана...

У Миши был очень еврейский вид и еще более еврейский (как тогда считалось) темперамент. Все в нашем классе, кому было не лень, обижали его, и светлые дорожки от слез на его немытом, веснущатом лице, казались постоянной чертой его облика. Отец его был каким-то бухгалтером-недотепой, а мать заоблачной идеалисткой, и семья жила в немыслимой грязи и бедности. Половину площади комнаты, где жили они втроем, занимали книги, наваленные кучей посреди пола - можно было брать любую...

Мишина способность сносить унижения возмущала мое нравственное чувство, и я стал ввязываться в драки, когда его задевали. Бывало,что в драках этих доставалось и мне, но, Миша, вместо того, чтобы посильно мне ассистировать, мирно плакал в углу, глядя, как меня за него отделывают. Как я его ни стыдил, я не мог заставить его вмешаться и, хотя бы отчасти, отвлечь противников...

С возрастом мы стали добираться до самой середины кучи в его комнате и усвоили некоторые передовые взгляды, которые не давали нам равнодушно наблюдать окружающую нас голодную и унизительную жизнь рабочего поселка Тракторного завода. Опухшие от голода рабочие , инвалиды войны, выставлявшие свои обрубки за подаянием, гигантские хвосты за хлебом слишком явно противоречили бодро оптимистической

пропаганде, которая, ни на минуту не смолкая, неслась из радио-репродукторов.

Окончательная революция в нашем сознании произошла, когда Миша познакомил меня с Геней Гершовичем из параллельного класса. В его доме книги (особенно классики марксизма) аккуратно стояли на полках, где оставил их его репрессированный отец. Полная несправедливости окружающая жизнь требовала от нас интерпретации, и мы, конечно, принялись искать ее в полном Собрании сочинений В.И.Ленина, стоявшем там на почетном месте. Т.к. это Собрание было издано в 1929 г., оттуда еще не были вычищены обширные примечания, разъясняющие детали программ сравнительно недавних партийных оппозиций 20-х годов. Две из них нам особенно приглянулись: "профсоюзая оппозиция" и "децисты". Сейчас я уже не помню всего, что эти наивные люди хотели от Ленина, но в наши 14 лет их доводы звучали для нас совершенно неотразимо.

Что же было делать? Не могли же мы спокойно смотреть, как коррумпированная, "обуржуазившаяся" партийная верхушка угнетает рабочий класс и держит народ в бесправии и неведеньи! Мы, конечно, должны были открыть им глаза...

Мы сочинили листовку, оканчивавшуюся оптимистическим прогнозом: "Падет произвол и восстанет народ!", пригласили еще нескольких одно-классников (вместе нас стало восемь) и, предварительно открыв им глаза, засадили за работу по размножению ее печатными буквами на тетрадных листах в три косых.

Первую порцию листовок мы расклеили у дверей хлебных магазинов, где с утра, еще до открытия, скапливались громадные очереди. Приходя к открытию, мы могли своими глазами наблюдать, как воспринималась наша пропаганда. Народ читал, народ сочувствовал...

- Впрочем, потом у следователя обнаружилось полное собрание наших листовок.

Мы трудились, не покладая рук, и когда наша группа разрослась, нам удавалось переписать до сотни листовок в раз. Мы варьировали их содержание, посильно откликаясь на повседневную жизнь ЧТЗ и мировые события...

Апрель и май 1946-го прошли в неустанных трудах, а народ все не восставал. Мы решили, что работать вручную неэффективно, надо переходить на подпольную печать. Тем более, что во всех школах города уже проводили повальные диктанты, включавшие знакомые слова и политические термины, а потом отдельных отобранных школьников таскали писать печатными буквами для опознания почерков. Мы уже начали

готовить гектограф (глицерин, желатин и еще что-то, чего уже не помню), когда нас арестовали....

Продержав меня день и всю ночь в боксе - камере на одного размером с телефонную будку (чтобы арестованный не мог прилечь), меня завели в пустое служебное помещение, посреди которого стояла длинная скамья, и велели раздеться. Я разделся до трусов, но мне велели снять и их. Так как я не раскалывался, все мои мысли были захвачены внутренним сопротивлением следствию и приготовлением к защите. Не было никакого сомнения, что сейчас меня положат на эту скамью и станут бить...

- И, вот, хотя я, конечно, боялся и дрожал от холода босиком на каменном полу, в моем ожидании содержался и оттенок любопытства. Я думал, что теперь узнаю нечто тайное о "их средствах", о том, чего никто не знает... Я узнаю и о себе, смогу ли я выдержать.

Наконец, я дождался. Пришел врач, велел мне нагнуться и долго разглядывал мой задний проход. Оказалось, что это была проверка на гомосексуализм, о чем я, впрочем, узнал лишь гораздо позже. Меня не били. Вообще, изолятор КГБ оставил у меня впечатление уголка Европы в море советских тюрем, изоляторов, лагерей, края которого я успел лишь коснуться...

Меня не били, но я был совершенно готов к этому. Несмотря на наше "счастливое детство", все мы знали, что нас можно бить. Это знание, мне кажется, было самой фундаментальной характеристикой Сталинской эпохи, и непременно должно быть упомянуто впереди всех остальных. Мы с этим знанием родились и со временем в нем только укреплялись. Мы бывали удивлены, когда оказывалось, что побоев нет в программе. В своих предположениях мы заходили даже дальше палачей и невольно сами подсказывали, чего мы особенно опасаемся.

Мне уже показывали собственноручное письменное признание Миши Ульмана, но я продолжал упрямиться, пока нам не сделали очную ставку, в ходе которой стало ясно, что больше нечего скрывать. После этого интеллигентный майор Луковский (предварительно объяснив мне, что в моих собственных интересах плакать и прибедняться, а не изображать взрослого идейного борца) передал меня в руки старшего лейтенанта Яроповца. Началась долгая, изматывающая борьба с мало-грамотным лейтенантом, который систематически перевирал мои показания. Несмотря на то, что я часами объяснял ему (вопреки разумному совету майора) нашу коммунистическую программу, он все норовил приписать нам противоестественную симпатию к германскому фашизму и сильно гневался, когда я отказывался

подписать.

В один из этих июньских дней меня перевели из одиночной камеры в двойную. Навстречу мне встал с койки высокий, русый студент с очень голубыми глазами, протянул руку, как взрослому, и представился: "Георгий Ченчик". Эта сцена навсегда запечатлелась в моей памяти и всплывала каждый раз, когда я читал что-нибудь о давно ушедших в прошлое народниках. Что-то в его сдержанной манере, вежливости, мягкой благожелательной серьезности напоминало российский Х1Х век, русскую классическую литературу, И.С. Тургенева...

А, может быть, все наоборот - все мои впечатления от русской литературы и истории русских революционных движений с тех пор всегда невольно соотносились со светящимся юношеским лицом Георгия. В тюрьме была хорошая библиотека, и за два месяца под его руководством я прочитал много замечательных книг.

Группу Георгия судили на несколько дней раньше нас. Г.Ченчик и Гений (родители дали ему имя, сулящее неординарную судьбу) Бондарев получили по 5, а Юрий Динабург - 10 лет лагерей (наверное за то, что он еще и стихи писал). Я запомнил со слов Георгия лишь одно его четверостишие:

Миры тоски, как небо, велики.
А я их взял на худенькие плечицы -
Я проглотил живого пса тоски,
И он в груди, кусая лапы, мечется...

Так или иначе, приговор юным "социал-демократам" по тем временам считался очень мягким, и это обстоятельство заставило судью проявить в нашем деле сугубую суровость. Дело в том, что Мишу Ульмана, к моменту преступления еще не достигшего 14 лет, и остальных 5-ых "преступников" отпустили еще до суда, и прокурор КГБ, учитывая наш тоже небольшой возраст, предложил ограничиться и в нашем с Геней случае лишь условным осуждением. Однако, судья был загипнотизирован своим оправданным страхом прослыть гнилым гуманистом и влепил нам все, что мог по обстоятельствам дела - три года детской исправительной колонии. - Эти подробности я узнал, уже выйдя из лагеря, от мамы и тетки, которые были членами адвокатской коллегии, и, конечно, старательно собрали все сплетни, ходившие среди судейских сотрудников о наших "страшных" делах...

Следующие четыре с половиной месяца мы с Геней провели в колонии "малолетних преступников" и очень быстро поняли, что живыми нам оттуда не уйти. Огромное большинство этих "преступников" были просто сбежавшие домой дети - ученики ремесленных училищ, которых по законам военного времени

(впрочем, спустя год после войны) судили, как саботажников (с 12 лет!). Они были с головой отданы лагерным начальством в руки блатных "активистов", воров постарше, которые держали этих детей в состоянии животного страха, обеспечивавшего их беспрекословное рабство. Блатные распределяли еду, следили за работой, регулярно избивали неугодных, принуждая в этом соучаствовать их несчастных сотоварищей, отбирали все что понравится, и время от времени творили показательные расправы. От мыслей о самоубийстве нас отвлекала только мечта описать ужасы, которым мы стали свидетелями, и передать эти записки на волю. Впрочем, мы были уверены, что, если наши разоблачения обнаружатся, нас все равно убьют, и нам уже не придется совершать самоубийство.

За последние 50 лет российский читатель узнал столько ужасов о своей истории, что я не вижу смысла еще умножать этот список рассказом о мучениях детей. Во всяком случае, мы с Генькой вряд ли сумели бы досидеть до конца срока, если бы Верховный Суд СССР, в конце концов, после бесчисленных хлопот родственников и жалоб адвокатов, не принял мнения гебешного прокурора и не изменил наш приговор на условный. В декабре 1946-го мы вышли на волю повзрослевшими больше, чем на полгода...

Оба мы с Геней были безотцовщиной. Но его отец был убит "своими", а мой - немцами. Эта разница сыграла свою роль в наших судьбах. Пока я сидел в лагере, старый мамин друг детства, Владимир Моисеевич Воронель, демобилизовался из армии и приехал просить ее руки. Тут ожидал его приготовленный мною сюрприз. Он не растерялся, и вместе с мамой стал ходить по инстанциям со своей свежеиспеченной версией о трогательной фронтовой дружбе, в ходе которой якобы мой истекающий кровью отец вручил ему мою судьбу. Сомнительно, чтобы этот сюжет повлиял на решение Суда, но он очень помог в ускорении продвижения жалобных бумаг от Челябинска к Москве. В итоге они поженились, и выйдя из лагеря, я уже навсегда стал Воронелем...

Отчим увез нас в Астрахань, потом в Махачкалу, а потом я поступил в Харьковский Университет, так что, когда, приехав в отпуск на каникулы в 1951-м, я узнал, что снова сажают "повторников", мне не пришло в голову, что это близко касается и меня. Миша Ульман, как и я уехавший с родителями в Ленинград, тоже избежал чрезмерно пристального внимания КГБ. Новая сталинская волна репрессий коснулась только Геньки. Он не изменил фамилии. Он не уехал из Челябинска. Он не пропал из виду и оказался в 1951-м первым на очереди для спущенной из

центра новой разнарядки на пополнение ГУЛАГа. Он был уже тогда студентом Исторического факультета Пединститута, и ему дали десять лет просто за то, что он был сын "врага народа", сам был "врагом народа" в прошлом, и легко прогнозировался, как "враг народа" в будущем. Да, и зачем еще такой человек станет изучать историю?..

К счастью, Гене не пришлось отсидеть весь срок, волна реабилитаций дала и ему возможность через 5 лет выйти, жениться, работать, воспитать дочку, но не получить образование. Он много лет работал слесарем в Политехническом Институте, утешив себя тем, что "хороший слесарь лучше, чем плохой инженер", которым при его анкете только и могла бы ему позволить стать советская система образования. Мы встречались, когда я приезжал в Челябинск и регулярно переписывались. В самом начале 70-х я предлагал ему вместе добиваться выезда в Израиль, но он отказался, сказав, что, хотя такого ужаса, как в детской колонии, ему больше пережить не пришлось, но и просто еще раз выдержать риск заключения он уже не сможет. Сейчас он живет на пенсии в Санкт-Петербурге вместе с женой и дочерью и няньчит внучку.

Миша Ульман окончил китайское отделение Ленинградского Универ-ситета и преподавал русский язык китайским студентам в Ленинграде. Он дружил с выдающимся китаистом и талантливым русским писателем Борисом Вахтиным (сыном Веры Пановой) и писал заметки в литературные журналы. Мы иногда встречались то в Москве, то в Ленинграде. В 70-е годы он без труда уехал в Израиль, а оттуда в Австралию. В Австралии он тоже преподавал русский язык в Университете в Сиднее. Он живет там и сегодня, уже на пенсии. У него трое детей. Его средний сын стал популярным раввином в Австралии.

Я, опустив в анкетах кое-какие подробности своей биографии, окончил физико-математический факультет Харьковского Университета. Это произошло уже через год после смерти тов.Сталина. Еще через год работы в провинции я поступил в подмосковный Исследовательский институт. Там я сделал свои открытия, подготовил свои диссертации и построил лабораторию Физики фазовых переходов. Одновременно я работал и в Дубне...

Еще в Университете я женился на писательнице Нине Воронель. Правда, она тогда еще не была ни писательницей, ни Воронель, ни даже Ниной. Она была Нинель Рогинкина. Нинель в юношеском возрасте тоже состояла в подпольном антисоветском кружке, который усиленно изучал марксизм, в тщетной надежде обнаружить (и, конечно, во что бы то ни стало, исправить!)

ошибку, приведшую эту, когда-то освободительную, теорию к столь очевидно закрепостительным результатам. В Харькове у них был даже не один кружок, а целая сеть связанных между собой кружков, которая включала несколько десятков студентов. Но им повезло, и среди них не оказалось доносчика. Никто из них не раскололся даже и на допросах (а как же без допросов в сталинское время!), и все они благополучно дожили до более либеральных времен.

В Москве мы с женой очень сдружились с четой Даниэлей и глубоко погрузились в московскую литературную среду. Как ни странно, мои литературные интересы нисколько не мешали интенсивности моих занятий физикой, а как-то даже способствовали этому.

Когда Юлия Даниэля и Андрея Синявского арестовали, мы оба, я и Нинель, очень горячо приняли к сердцу их судьбу и этим опять сосредоточили на себе внимание вездесущей организации, оставшейся в силе и после сталинского режима. У меня сложилось впечатление, что безраздельное господство этой организации фатально для России, и так же как в свое время я понял, что, если не выйду из лагеря, я должен умереть, я решил, что теперь, чтобы не умереть, я должен покинуть Россию. Когда в человеке созревает такая решимость, обстоятельства идут ему навстречу. Через пять лет мы поселились в Израиле.

Собственно, только дети и принимали всерьез претензию Сталинского режима основываться на марксистской теории. Детский уровень этой теории в понимании природы человека провоцировал именно детей, лишенных реального жизненного опыта, принять на веру экономический детерминизм и сосредоточиваться на партийных программах, как будто именно программы определяют качество жизни. Реальный режим держался на жестокости наказаний и полноте неведенья, и, если уж упоминать в этой связи какую-то теорию, то это была скорее теория Жозефа Де Местра*.

** **Жозеф Де Местр - Пьемонтский граф, талантливый франко-язычный писатель и философ консервативного направления, много лет бывший послом Сардинского королевства в Санкт-Петербурге. Ж. Де Местр был убежденным идейным противником Французской революции и добился большого влияния при дворе императора Александра 1. Он, в частности, горячо отговаривал молодого царя от освобождения крепостных крестьян.***

Сама идея согласования реальной жизни с какой бы то ни было теорией в значительной степени была нам внушена

советским языком, который создавал у людей ложное впечатление, будто жизнь страны основана на каких-то принципах, а не на прихотях тирана. Смерть Сталина в единый миг изменила все принципы и продемонстрировала всю тщету теорий. Личности, а не принципы, создают прецеденты, которым в дальнейшем следует рутинная практика. XX-тый век дал в руки управляющих организаций технические средства, намного превосходящие способность отдельного гражданина к разумному, целенаправленному сопротивлению. Поэтому сопротивление и могло быть только неразумным, детским. Абсолютистские претензии власти узаконивают даже хулиганский характер протеста...

Над въездом в поселок ЧТЗ нависала грандиозная стальная арка, на которой был составлен из электрических лампочек сверкающий ритуальный лозунг: "Слава Сталину". Этот лозунг, по нашему мнению, слишком ярко освещал правоту первых рабочих оппозиционеров 20-ых годов, возражавших против "диктатуры вождей", и однажды мы с Генькой решили его погасить. Миша стоял на шухере, я стал Геньке на плечи и дотянулся до рубильника на арке. Выключив рубильник, мы кинулись бежать, уверенные, что за нами побегут возмущенные толпы.

- Ничего подобного. Нашего кощунства никто не заметил. Потом еще не меньше недели арка стояла погасшая, слепая... Потому ли никто не хватился, что никому до нее не было дела? Или по недогадливости местных властей, которые даже не могли себе представить, что этот их сакральный символ был просто отключен мальчишеской рукой?

Смерть Сталина во всем своем значении тоже не сразу была осознана гражданами. Еще много лет тень его лежала на всей жизни страны.

И сегодня остается на ней его ощутимый след.

ЛЮДИ ИЛИ НЕ-ЛЮДИ?

А.Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ", касаясь неизбежных в лагере столкновений с блатными, пишет, что уголовный мир не подлежит человеческим законам, и блатные - не люди. В этом представлении он сходится со многими авторами и читателями, потрясенными уровнем жестокости и цинизма, принятым в уголовной среде.

В последнее время мне часто приходилось слышать от окружающих, что и террористы, особенно мусульманские террористы, не люди.

Я хотел бы возразить против такого представления. Но вовсе не для того, конечно, чтобы защитить человеческое достоинство террористов или уголовников. Звание человека на мой взгляд вовсе не звучит гордо. Никакого достоинства в этом звании нет. Человек, если и не произошел от обезьяны, все же во многих важных отношениях остается очень близок к ней, и отличие не всегда к лучшему. Но, если мы хотим защититься от упомянутой опасной категории существ, нам придется понять их, именно, как людей. Прежде всего, как людей принадлежащих к определенной, чуждой культурной общности.

Мой короткий опыт общения с уголовниками в детской исправительной колонии пришелся на такой ранний возраст, при котором мое понимание еще не было безвозвратно ограничено культурой моего круга. И потому, вероятно, моя еще несложившаяся душа была открыта альтернативным вариантам интерпретации явлений.

Блатные, конечно, люди, и им вполне присущи все обычные человеческие свойства. Однако, их отщепенческое сообщество построено на принципе, который по отношению к общепринятым правилам является дополнительным. Понимание этого принципа дополнительности может пролить свет также и на многие загадочные для европейца черты культуры неевропейских народов.

Уголовники составляют как бы иную, замкнутую цивилизацию внутри существующей, и их успешное функционирование определяется, как раз, факторами, составляющими ее слабость. Именно их демонстративное пренебрежение "общечеловеческими" нормами поведения позволяет им ошеломить обывателя ("фраера"), опередить реакцию толпы и восторжествовать над повседневностью.

Поведение блатных, больше чем наполовину -

артистическая форма жестикуляции, рассчитанной на аудиторию, оно в сильной степени ритуализовано и имеет свои законы, этику и эстетику, свой фольклор и своих хранителей традиции.

Блатной не живет в объективном мире вещей и установленных фактов. Он живет только в мире людей. Поэтому он действует в соответствии с психологической моделью реальности, как циркач (еще лучше сказать, гипнотизер-иллюзионист) на арене. Единственной значимой величиной для него является его собственное поведение, которое призвано на эту реальность в той или иной форме повлиять, т.е. шокировать, озадачить или разжалобить. Именно так уже в течение десятилетий ведет себя Палестинское руководство и, вслед за ними, многие другие "освободительные" и "революционные" движения. Варяжские витязи, рыцари-крестоносцы или мусульманские чудо-воины тоже не склонны были тянуть трудовую лямку и в большинстве были отщепенцами в своей народной среде. Они не рассчитывали прожить долго и между грабежами не задумывались о будущем. Английские пираты правильно называли себя "джентльменами удачи". Никаких привходящих обстоятельств - только удача и кайф. Неудача не в счет, потому что, если нет удачи, нет и жизни - впереди виселица.

Уголовник знает, что его реальных сил всегда недостаточно, чтобы приспособить к себе весь окружающий мир. Но, если его решимость (вдохновение - "дух") действительно безгранична, а, главное, впечатление, которое он способен произвести на аудиторию, внушает надлежащий трепет, ближайшая к нему часть мира, может склониться перед ним, обеспечив ему точечный успех. Конечно, он рискует сорваться и пропасть, но готовность к риску - обыденная часть его профессии. Поэтому он (как и викинги и асассины в древности, как террористы-смертники сегодня) культивирует в себе способность к сомнамбулическим, невменяемым состояниям, при которых действительность перед его глазами как бы прогибается и временами действительно идет навстречу...

Слабость любой существующей цивилизации состоит, в частности, в том, что между преступлением и наказанием всегда остается зазор времени, который для преступника может показаться вполне достаточным для оптимистического отношения к жизни. Раскольников в "Преступлении и наказании", прежде чем попал на каторгу, успел пережить целую сентиментальную драму с Соней Мармеладовой и, т.о., отчасти устроил свою дальнейшую жизнь.

Нормальный человек с трудом понимает и предугадывает поведение отморозка, потому что он ценит свою жизнь и свободу.

Профессиональный преступник, напротив, воспринимает свое пребывание в тюрьме, как основное, нормальное состояние, а его свобода продлевается и в заключении. Для него, как раз, ежедневная рабочая рутина нормального человека - тюрьма. Член блатного сообщества живет минутой и ловит кайф при всякой возможности. Он стремится только к сиюминутному счастью ("кейф"), и краткие перерывы между отсидками проводит в счастливом, совершенно беззаботном состоянии, соответствующем его представлению о райском блаженстве.

Такому, наполовину солипсическому, сознанию чрезмерная расчетливость - только помеха. (Все же лишь наполовину солипсическому, потому что с опытом наш герой научается симулировать обманчивые или устрашающие состояния, призванные электризовать окружающих, но неглубоко задевающие его самого.) При поимке вора его психологическая установка близка к поведению капризного ребенка, который бросается на пол и бьет ногами, если родители не поддаются манипулированию. Часто, это - не столько поступок, сколько жест. Если родители отвечают полным невниманием, ребенок может остановиться. Если обыватель не пугается, уголовник не всегда знает, что ему делать дальше. Его действия направлены не на объективную реальность, данную нам всем в ощущениях, а на противопоставленную ему коллективную волю общества, обывательскую психологию. Очень редко ему удается провести опытных полицейских.

Еще больше, чем с детьми, все эти признаки сближают образ действий уголовников с ритуализованным поведением примитивных племен, которые живут в постоянном, тесном контакте с населяющими окружающую природу духами и надеются их запугать, обмануть или задобрить. Своей татуировкой, воинственными плясками и жестокими казнями врагов они устрашают духов, своими жертвами ублажают их и обеспечивают себе успех на войне и охоте. При этом они понимают, что духи сильнее их и могут не поддаться магическим усилиям, но они привыкли жить в присутствии опасности и рано умирать. Зато героическое поведение погибших (и особенно приукрашенный рассказ о нем) укрепляет общую традицию и дух следующих поколений и обеспечивает мертвым почетное место среди храбрых...

Конечно, вся эта субкультура создана поведением выдающихся одиночек, которые, возможно, и впрямь не знали страха, не ведали колебаний в своем зверстве и не чувствовали боли, глада и хлада. Артистизм натуры позволял этим людям

даже и в гибели черпать упоение своим превосходством над унылой законопослушностью их жертв и преследователей. Большинство же в блатном сообществе (как и во всяком другом) просто копирует формы поведения авторитетных воров-старожилов и обычно может быть сбито с ритма и обращено в бегство всяким решительным сопротивлением.

Также и современный терроризм - это не единичный поступок, который можно объяснять отчаяньем или религиозным психозом. Терроризм не объясняется и одними стратегическими решениями ответственных политических групп. Это специфический образ жизни, патетическая культура, включающая свой внутренний язык и жестикуляцию, иерархию авторитетов, жажду престижа. А также свободу от обыденных норм, восхищение женщин и любовь друзей, недоступные простым смертным. Терроризм - это власть сильных своим бесстрашием одиночек над бесчисленными, беспомощными "фраерами", неспособными противостоять "настоящим людям".

Напрасно европейцы всерьез обсуждают нелепость веры шахидов-смертников в мусульманский рай. Рай тут не главное, они успевают отведать всю полноту ощущения сильной жизни еще на этом свете. И острота их переживания борьбы и близости победы (которые неизменно видятся им в сильно приукрашенном виде) не сравнится со скукой их тягомотного существования на задворках Европы в качестве чернорабочих...

Уголовники презирают фраеров. У них есть для этого основания. Фраера живут в мелочных заботах о надежности своего существования. Они подвержены бесчисленным страхам, которые преступнику неведомы. Их снедает беспокойство о хлебе насущном, о близких, о будущем... Искусство всех народов внесло свою долю в обнажение пресности обыденного существования и эстетизацию лихой беззаботности и преступления: "Орел клюнул раз... и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!" (А.С.Пушкин, "Капитанская дочка"). Потому что искусство любит все преувеличенное, из ряда вон выходящее, впечатляющее. Искусство любит успех. А успех достается тому, кто выходит за пределы обывательского воображения.

У преступника (как и у революционера) всегда есть возможность отобрать у фраера хлеб. На то фраер и существует. У преступника нет близких, которыми он не мог бы пожертвовать. Воровство и грабеж в его сознании суть справедливые формы перераспределения жизненных благ между трусливыми и неспособными с одной стороны и смелыми и гордыми с другой... -

"Запирайте етажи, нынче будут грабежи..." (А.Блок). "Грабь награбленное..." (В.И.Ленин).

Этот стереотип совсем не бесчеловечен. Нелепо называть бесчеловечным то, что так глубоко укоренено в человеческой истории. На протяжении многих тысячелетий так вели себя лихие представители почти всех народов. Например, этот образ действий близок к былым героическим представлениям германских и кельтских племен Римской империи, среди которых считалось, что "стыдно добывать плугом то, что можно добыть мечом". Действительно, как только Империя ослабела, шайки кельтов и германцев рассыпались по всей Европе и создали свои минигосударства-загоны, где они издевались над культурным населением, как хотели, а настоящее сопротивление встречали лишь друг от друга (при дележе).

Так же поступали и многие другие завоеватели. Еще в ХУ11 в. в Европе солдатский грабеж и насилие считались законной наградой победителей. Всего 30 лет назад в Нью-Йорке из-за аварии на электро-передаче на несколько часов произошло затемнение ("Blackout"). За эти часы все магазины в затемненном районе оказались разграблены...

Нечто подобное произошло и в златоглавой Москве, которая без всякого сопротивления была поделена на районы, "опекаемые" разными экзотическими мафиями, "азербайджанской мафией", чеченской мафией, "солнцевской" группировкой, орехово-зуевской и т.д., и т.п.

Т.о. преступная субкультура всегда тлеет в складках цивилизованных обществ. Профессор Дельбрюк, автор фундаментального труда "История войн и военного искусства" утверждает, что взрыв варварской мощи происходит всякий раз, как титульная нация теряет охоту к войне.

Бесчеловечной я бы скорее назвал массовую неготовность людей к защите своей жизни и благосостояния и неспособность поддержать (хотя бы простым сочувствием) те общественные силы, которые предназначены защищать их интересы.

В периоды социальных бедствий и катастроф у многих обывателей возникает соблазн предпочесть открытую воинскую доблесть воров в законе сомнительным гражданским добродетелям честных полицейских, хладнокровных биржевиков и ловких менеджеров. Кому из них лучше вручить заботу о своей жизни и собственности? Обыватель - не "джентльмен удачи" - всегда ищет, кому перепоручить заботу о своей жизни. К этому и сводится смысл политических прав для лишенного честолюбия гражданина. По мере роста общего благосостояния даже и реализация политических прав становится ему в тягость, как мы

ясно видим во всех богатых обществах, где даже в судьбоносных выборах участвуют едва ли половина избирателей.

Десятилетия господства упорядоченной жизни под защитой закона создали у многих из нас иллюзию, что государство и закон имеют подлинное существование и держатся своим собственным весом. На самом деле и государство, и закон существуют лишь условно и лишь в той мере, и до тех пор, пока подавляющее число граждан склонно их систематически поддерживать своим деятельным участием.

Во всяком цивилизованном обществе существуют преступные структуры и потенциальная люмпенская среда, готовая воспринять уголовные правила. Полностью уничтожить преступность не удается ни в одной стране. С развитием глобализации глобализуется и эта преступная культура. В наше время обнаружились преступные, террористические движения (например, "Светлый Путь" - организация китайских бандитов в Перу, вооруженные формирования наркодилеров в Колумбии и др.), принимающие разные политические формы прикрытия. Коррупция правящих кругов, избыток свободного капитала в мире и извращение понятий в духе "политической корректности" позволяет этим группам существовать и даже представительствовать на международном уровне, где разница между допустимым и нетерпимым катастрофически размывается.

Соединение преступных стихий с романтическим идиотизмом грозит совершенно размыть основы всякой цивилизации.

Если верить Жозефу Де Местру*, нас отделяет от бездны хаоса очень тонкая психологическая преграда, созданная еще несентиментальными предками сегодняшних граждан в суровые времена религиозного засилья и беспредельно жестоких наказаний. Эта преграда утончается на наших глазах с каждым днем. Свободный мир практически отменил наказания в своих пределах, а влияние религий на светские дела сугубо ограничено.

* ***Жозеф де Местр - писатель Х1Х в. (см. предыдущую статью).***

У свободного мира не остается прямых, оперативных средств контроли-ровать поведение преступных групп и индивидов. Всякий сдвиг в сторону усиления контроля воспринимается обществом как шаг к фашизму, и, действительно, открывает для правящих кругов слишком широкие, если не беспредельные, возможности.

Впрочем, перед лицом смертельной угрозы во время 2-й мировой войны, по крайней мере, два традиционно супер-либеральных общества (Британия и США) сумели мобилизоваться

и дать сокрушительный отпор и Германии, и Японии. Но это произошло только после пяти лет войны, в течение которых они сначала понесли тяжелые жертвы и потерпели не одно горькое поражение. Война - великий Учитель, но до чего же не хочется идти к нему в эту школу...

БОЛЬШОЙ БЕСПОРЯДОК В ГУМАННОМ МИРЕ

В борьбе за мир

Однажды, в конце 50-х, в доме Даниэлей, где мы с женой дневали и ночевали, появились необычные гости. Французские ученые-русисты, решительно рыжий Клод Фрийу и деликатно белесый Мишель Окутюрье. Красивые фамилии. Кажется, они были тогда коммунисты. Их привел Андрей Синявский из своего Института Мировой Литературы. Железный занавес был еще вполне надежен, но кое-где уже и тогда просверлены были дырочки для дыхания.

Они, конечно, интересовались неофициальной литературой и ненормативной лексикой, но нам, островитянам, были любопытны они сами - живые, невыдуманные люди из несуществующей, легендарной страны `Запад".

Коммунистическая партия Франции, в ходе своей тогдашней беззаветной борьбы за мир, приняла резолюцию, что в случае войны с Советским Союзом они откажутся стрелять и сложат оружие. Мы с интересом расспрашивали гостей, что это для них означает. К тому же, в начале недавней войны с Германией французская коммунистическая партия поступала, в сущности, подобным же образом...

Тут выяснилось, что гости воспринимали всерьез только эмоционально-вдохновляющую часть резолюции своей партии, а уголовную оставляли безо всякого внимания, считая саму возможность (войны) совершенно нереальной. Наивно, а ля Евтушенко, они обращались и к нашим лучшим чувствам: мол, неужто, вот, вы могли бы выстрелить из какой-нибудь смертоносной штуковины, зная, что мы с Клодом, беззащитные, стоим тут, прямо перед вами?

Я был в тот день в легкомысленном настроении и, играючи, взял на себя роль простого советского человека, который без размышлений стреляет, в кого велят, и с энтузиазмом, мол, выполнит завет великого нашего предшественника и миротворца, Чингиз-хана, омыть, наконец, танковые гусеницы в волнах последнего моря. Впрочем, я не скрыл от них и некоторых

малоизвестных деталей советской военной тактики, при которой в затылок наступающей армии движутся заградительные отряды КГБ с пулеметами. На тот, исключаемый идеологией случай, если доблестные воины вздумают уклониться от дороги чести. Так что идея, которую развивает их коммунистическая партия, могла зародиться (если только не в Отделе диверсий КГБ) лишь в лоне отжившей, растленной системы, несущей свою гибель в себе самой. В пределах же цветущего, хотя, быть может, и неизбежно суженного, советского миропонимания на каждый заданный и незаданный вопрос дается лишь один единственный ответ и он дается нам в своей самой категорической форме. Если для торжества мира во всем мире надо будет оккупировать еще незамиренную часть Германии и всю Францию с Бенилюксом, нам останется только сделать это как можно скорей.

Французы слегка переменились в лице и стали всерьез объяснять, что в ходе такого конфликта двух различных подходов к вопросу о всеми нами желанном мире может пострадать нежная западная культура.

`Культу-ура!!!" - обрадованные завязавшемуся балагану загалдели, заулюлюкали мы все: `и изнеженные римляне тоже воображали, что вся культура погибнет вместе с ними! Но... свежая варварская кровь влила новые силы в тело Европы и, всего-то, через каких-нибудь ... десять ... ну, двенадцать, веков культура расцвела еще богаче, разнообразней ... Ну,... допустим русские солдаты в простоте своей и в самом деле развесят портянки где-нибудь там в Лувре или на Елисейских полях. Ну, может, даже истопят на дрова Булонский лес. Зато, потом..." - В общем, да! Скифы мы. Да, азиаты... Грядущие гунны. Если враг не сдается - с кем вы, мастера культуры?

Тут рыжий Клод не выдержал наших живописных половецких плясок и сказал, что раньше, во Франции, он был против применения атомного оружия, а теперь вот окончательно осознал, что сильно ошибался:

`Я, конечно, понимаю, что вы шутите, но ваши шутки показывают, как мало вы привязаны к Культуре, поверхностно и неблагодарно принимая ее дары. Говоря о цивилизации, вы неясно сознаете, чем вы, в сущности, ей обязаны. Да, римский мир погиб, потому что он не сумел побороть варваров. Но у римлян не было атомной бомбы. Если бы она у них была, они просто обязаны бы были сбросить ее на этих дикарей! Это был бы их культурный и нравственный долг."

Что была ему Гекуба? Почему так безоговорочно он стал на сторону классово чуждых римлян? Профессионально к тому же хорошо зная их жестокий и страшный мир? Такой безоглядной

верности принципу мы от него не ожидали. Да и сами тогда не имели ничего похожего за душой. Советские люди вообще поздно развивались. Русская культура нам в этом немало способствовала.

"Мир - театр, люди - актеры." А кто зрители?

Прошло более тридцати лет, и многие из нас вблизи познакомились с западной культурой, оценили ее и даже поняли, почему стоило ее от нас защищать. Однако, еще большее число людей в России почувствовали и то, что пережили в свое время римляне (в самом деле, изнеженные они были или нет?) при падении Империи. Разверзающуюся бездну под ногами и беспросветный хаос вокруг. Состояние невесомости. Потерю координатной ориентации. Оказалось, что скифов не было между нами.

Мы, как род, разучились жить в голой степи, есть сырое мясо и спать на одной ноге. Мы нуждаемся в упорядоченности окружающего мира. Хотя бы только для того, чтобы установить некую упорядоченность и в своей жизни. Эти две фундаментальные упорядоченности (И. Кант: "Звездный мир над нами и нравственный Закон внутри нас") редко осознаются одновременно, но не могут существовать друг без друга.

И хотя одна из них представляется далекой от нас, а другая кажется личным делом каждого, беспорядок в любой из них очень скоро угрожающе проступает в неоднозначно пугающих очертаниях другой.

Отсутствие уверенности в порядке мироздания (включая и человеческое общежитие) немедленно сказывается на нашей уверенности в себе. Колебания в этом порядке - качка - вызывают панику, морскую болезнь. Так же и, напротив, недостаток последовательности в личном мышлении приводит индивида к перекошенной картине миропорядка и неадекватной оценке своей роли в нем.

Здоровый человек, живущий среди людей, с возрастом так или иначе определяет свои отношения с миром и обществом (как согласные, например, либо враждебные) и совершает затем свою одинокую траекторию (доброго малого или производителя бед, благотворителя или тирана) на фоне общественной сцены, остающейся неизменной. Он обычно, более или менее, уверен, что знает свою роль и площадку, на которой осужден действовать. Шесть метров, скажем, в ширину, три метра в глубину и столько-

то на декорации... Актеры в любой жизнеподобной драме соотносятся со сценой и сотрудничают между собой, даже если они разыгрывают непримиримый конфликт.

Однако сегодняшняя реальность подсовывает нам спектакли, в которых труппа не подыгрывает друг другу, не следует тексту, и держится разных взглядов как на свойства своей площадки, так и на то, кто какие роли играет. Иногда, похоже, актеры и сами не знают этого и ищут поддержки прямо из зрительного зала, импровизируя по ходу дела. Помогает и клака. Так что, пожалуй, не все люди - актеры...

Представьте себе, что в хорошо нам известной пьесе "Доктор Айболит" на сцену выбегает черный лоботряс с ножом, хватает Танечку и Ванечку и, бросая их в костер, густым басом трогательно поет арию Айболита. Затем входит лысый коротышка в очках и белом халате, стетоскопом повергает детину наземь, и нежным тенором угрожает ему всеобщим осуждением. Зрители в зале, никогда, как водится, не читавшие первоисточника, недоумевают, кто есть кто, о чем пьеса, кому сочувствовать и за что хлопать.

(Я смотрел однажды в 60-х в Новосибирске египетский фильм, в котором огромный звероподобный еврей с кухонным ножом гонялся за нежной девочкой-мусульманкой с трогательными школьными косичками, чтобы зарезать ее по поручению своей людоедской сионистской организации. Крики ужаса и сочувствия жертве сопровождали сцену из кинозала.)

Это совсем не смешно, потому что людям привыкшим к детгизовским картинкам очевидно, что черный человек должен быть Бармалей, но зато тем, кто привык к антисемитским карикатурам, естественно думать, что лысый в очках - еврей, убийца и колониалист в белом халате. Что, интересно, должен думать, глядя на это, черный еврей-эфиоп?

Там, где одни будут визжать от ужаса, другие, возможно, завизжат от восторга. И когда некоторые из возмущенных зрителей затопают ногами, другая часть зала может сделать то же самое в знак своего одобрения.

Если арабский член израильского кнессета объявляет на весь мир военную диктатуру в Сирии "оплотом и надеждой демократии", мы сознаем, что он понимает свою роль иначе, чем мы. Но он, повидимому, также, и обращается к незнакомому нам зрителю, для которого оценка лжи, как формы коммуникации, тоже сильно отличается от принятой среди нас. Как может продолжаться спектакль, в котором представления актеров о себе и о пьесе так сильно различаются? Могут ли они вообще сохранять душевное равновесие при ежедневном

взаимодействии?

Вавилонское столпотворение

Во всех цивилизованных странах мы приближаемся к Вавилонскому смешению языков (тем более, что и буквально это тоже происходит).

Сосед рядом с нами видит другое небо над головой, и его нравственный закон не обязательно покажется нам таким же. Герои, которых он чествует, могут показаться нам извергами, и - наоборот.

В нашем мире одномоментно сосуществуют люди разных культур, которые видят мир не просто по-разному, но настолько несовместимо, что поневоле вспомнишь давних французских гостей и их нежданную апологию древних римлян. Это было, когда Франция еще не кишела выходцами из Алжира, Марокко и Центральной Африки.

А ведь римлянам было бы легко бросить атомную бомбу! У них-то не было сомнений, что наседающие на них варвары - дикари. У них не было и тени сомнения, что жизнь дикаря ничего не стоит. И они были еще далеко не настолько изнежены, чтобы жестокость войны их травмировала.

Европейский гуманизм учил нас, что люди другой культуры, может быть, не дикари. Что их жизнь должна быть, в принципе, так же драгоценна, как и наша. Что ничего нет на свете страшней войны и человеко-убийства...

Тогда, может быть, и права была их французская коммунистическая партия, как бы ни были далеки от гуманизма ее подлинные мотивы? Разве главная ценность гуманизма - не человек?

Люди других культур, окружающие нас, в большинстве, не дикари. Но они, как правило, иначе, чем мы, относятся к своим культурам.

Конструктивно-критическое отношение, при котором можно допустить относительность своего правоверия и некоторую ценность иного подхода, свойственно только определенному слою гуманистически настроенной американо-европейской элиты и связано с относительным религиозным хладнокровием, чтобы не сказать скептицизмом. Такое отношение часто включает несколько небрежное обращение с внешними (но иногда и содержательными) знаками и символами своей культуры.

Особенно журналисты, актеры и телевизионщики, конечно, входят в эту супер-передовую группу и поэтому общественное мнение многих стран формируется ими в духе самых свободолюбивых идей, выраженных в броской, обвинительной к истеблишменту и его `"предрассудкам" манере. Типовое отношение к чуждеродному культурному вторжению, которое угрожает устоявшимся нормам, они выражают при этом во внешне самокритичной форме: `"А почему бы и не предположить, что эти простые люди правы? Чем они хуже нас?"

Большинство евреев в мире, по крайней мере формально, бездумно отождествляют себя с этой далеко продвинутой социальной группой и ее передовыми идеями "без берегов".

Но большинство человечества, психологически естественно (хотя и без ссылок на Канта), стремится сохранить берега и, оберегая душевную упорядоченность, относится к своим культурам и их религиозным основаниям ревниво и всерьез. Это делает большинство во всякой стране культурно консервативным, т.е. в какой-то степени фундаменталистским.

Доброжелательное отношение к представителю чужой культуры есть условие необходимое для сосуществования, но далеко не достаточное. Достаточным оно было бы только при наличии также и искренней заинтересованности в понимании и готовности к самоограничению в связи с этим. На деле, однако, у людей (даже у лучших из них) есть только стремление свести свое культурное отличие к простой формуле, вытекающей из собственной культуры и ограничиться этим словесным решением проблемы (возможно, неразрешимой). Так, негров в Америке сначала уважительно переименовали в `"черных американцев", предполагая, что если они ничем, кроме цвета, не отличаются, это им польстит. Теперь, с появлением черного шовинизма, их стали называть уже `"афро-американцами", и это открыло целый спектр новых возможностей для демагогии, но нисколько не продвинуло проблему к решению.

Американский демократизм в применении к феодальным и автократическим обществам Азии и Африки звучит для высших слоев этих обществ оскорбительно, а для низших выглядит попросту как подрывная пропаганда и законно вызывает возмущение в третьем мире. В то же время американские цинично-деловые отношения с их королями и диктаторами вполне удовлетворяют хозяйскому чувству этих людей по отношению к своим народам. Не забудем, что организовали работорговлю в ХУ11 в., конечно, европейцы, но рабов им поставляли натурально сами африканские вожди.

Израильская идея мира, который мы упорно навязываем

всем и каждому, будучи выражена на европейском языке, звучит безупречно, но почему-то не вызывает положительного отклика в арабской душе. Это происходит потому, что они правильно понимают этот будущий мир, как наше завоевание, ибо мы культурно сильнее и несомненно будем существенно влиять на их образ жизни. Они, может быть, были бы и не против, если бы эта инициатива исходила от них, на их условиях и в результате их превосходства.

Собственно, их образ жизни, как они себе это представляют, автоматически предполагает такое превосходство, и наше независимое существование просто нарушает этот якобы свыше установленный порядок.

Здесь бодрая логика гуманистической цивилизации претыкается, ибо сталкивается с непреодолимым препятствием, лежащим в природе этого контакта: с одной стороны мы ни при каких обстоятельствах не хотим осквернить чужие святыни (ибо, "чем же "они" хуже нас?"), а с другой стороны мы при этом ведем себя так, как будто таких святынь вообще на свете нет (в частности, у нас нет) и быть не может.

Если мы таким путем невольно внушаем окружающим мысль, что в мире вообще нет ничего святого, мы бросаем оправданное подозрение на искренность нашего уважения к их верованиям. Если же мы создаем впечатление, что ничего святого нет только у нас самих, мы последовательно, всегда и во всем, должны уступать представителям других культур. Ибо относительное должно отступить перед абсолютным. Это только справедливо. К тому же, "лишь бы не было войны". Мы ведь гуманисты...

Однако, на самом деле здесь кроется фактический обман противной стороны, отчасти замешанный и на самообмане. У тех, кто слабо себе представляет исторические основания гуманизма, возникает ложное представление о пределах уступчивости человека западной культуры.

Мы своим показным либерализмом систематически вводим в заблуждение всех, кто недостаточно знаком с нашим образом жизни. Конечно, этот образ жизни включает значительное материальное благополучие, которое больше всего остального режет глаза народам бедных, неустроенных стран. Но суть дела состоит в том, что это благополучие достигнуто в значительной степени благодаря образу жизни, связанному с гуманизмом и склонностью к компромиссу, а не наоборот.

Именно этот образ жизни, в его целом и во многих деталях,

есть наша святыня.

Бедный, наивный Саддам Хусейн легко попался на удочку уклончивых формулировок, принятых госдепартаментом США и решил, что он может беспрепятственно захватить Кувейт, накапливать оружие и делать с ним, что ему в голову взбредет. И Гамаль Абдель Насер в свое время пал жертвой такой же варварской наивности. В прошлом, войны в Корее, Вьетнаме и Анголе были спровоцированы кажущейся беспредельной уступчивостью западной стороны. Также и аргентинский президент спроста решил высадиться на Фолклендских островах, потому что поверил в безграничный английский гуманизм. Никто ведь не сказал ему честно и прямо: "Остальные ваши фокусы, которые нас не задевают - пожалуйста! А, вот за это - убьем! Уничтожим..."

Всяким уступкам приходит конец всякий раз, когда нарушается невидимая грань между простой опасностью для жизни западного человека и **опасностью его образу жизни**. Ничто человеческое гуманизму не чуждо. В том числе и война. И атомная бомба.

Наши давние французские гости разом потеряли присущее им чувство юмора, едва лишь учуяли угрозу своей привычной свободе. Ирония слетает с европейца всякий раз, как он ощущает ограничение в выборе.

Нет, отнюдь не человек - святыня современного гуманизма, а только его свободный выбор.

Гуманизм по-советски и по-английски

В 80-е годы Советские власти, лишенные всякого гуманизма, насильственно, через нос, кормили протестующего академика Сахарова, трогательно заботясь о его жизни. А сторонник и защитник европейского гуманизма, Маргарет Тэтчер, спустя пару лет, хладнокровно дала умереть нескольким ирландским террористам, объявившим голодовку с требованием статуса политических заключенных. Она, как многие (в том числе и англичане) считали, недостаточно заботилась о их жизни. Но ей и в голову не пришло с помощью медицины посягнуть на их свободу воли.

Она же без колебаний объявила и довела до победного

конца войну за Фолклендские острова, где проживала горстка британских граждан, чьи священные права были нарушены аргентинской агрессией. При этом погибло едва ли не больше англичан (не говоря уж об аргентинцах), чем было жителей на этих островах, на тысячи километров удаленных от Англии. И на островах этих ничто, включая овец, не могло бы привлечь жадный взор империалиста. Но в результате этой войны существование английского образа жизни и их понимание законности власти, происходящей от свободного волеизъявления граждан, закрепилось на будущее.

Железной лэди Тэтчер назвали не просто за то, что она иногда поступала смело вразрез с сиюминутным общественным мнением своей страны, а за то, что у нее всегда хватало духу быть до конца верной своей более глубокой английской традиции.

"Никогда, никогда, никогда, англичанин не будет рабом..." Корень этой формулы кажется весьма далеким от той кротости, какую мог бы ожидать от правоверных христиан неискушенный наблюдатель. Он происходит, однако, от систематического чтения англичанами Библии, которое еще со времен Реформации стало их традицией.

Гуманизмом в учебниках часто называют элитарное католическое вольнодумство, возникшее в Италии в Х1У в. Но англо-саксонский гуманизм наследует скорее более поздней, протестантской, сильно смахивающей на фундаментализм, борьбе за свободу совести.

Объявив недействительной власть центральной религиозной инстанции - католической Церкви - протестантизм раньше или позже вынужден был признать законность индивидуального суждения, т.е. веротерпимость.

Протестантизм, особенно у англичан и американцев, это не одна религия, а целый спектр весьма различных толкований Писания, за каждое из которых люди в свое время готовы были умереть.

Веротерпимость, таким образом, утвердилась среди протестантов не вследствие религиозного равнодушия, а из-за их фундаменталистского рвения, натолкнувшегося на ограниченную способность людей проникнуть в истину Божественного откровения. Гуманистическое свободомыслие, наследующее этой суровой традиции, поверхностному наблюдателю (а часто даже и участнику) кажется иногда всего лишь легким ироническим умонастроением, приемлемым и желанным на всех континентах. На самом деле, однако, именно свободомыслие является одной из ее наиболее агрессивно действующих догм, в отношении себя никакой свободы не допускающей. Право британского

гражданина, мусульманина, Салмана Рушди, иронически комментировать Коран оказалось в Англии святыней, на защиту которой от мусульманского фундаментализма была мобилизована вся английская служба безопасности.

До прихода мессии

Пуританский фундаментализм опирался на основной массив текста Библии - Ветхий завет. Общая с евреями основа, включающая идею избранности и безусловное право на землю Израиля, привела Англию в свое время к декларации Бальфура и признанию сионизма (тем более, что такое признание вело тогда также и к подрыву мощи соперника - Оттоманской Империи). Эта идея в какой-то степени и сейчас присутствует в западной политической культуре, как несформулированная идеология, как подспудный консенсус. В этот консенсус входит и от 50 до 70 миллионов американских христиан, считающих образование Израиля осуществлением библейских пророчеств. (Заметим, однако, что обе, и католическая, и православная церкви в этот консенсус не включены. И в международном движении "христианских сионистов" не случайно участвуют только протестанты.)

Именно в духе этого консенсуса всегда формулировали свою идею нерелигиозные сионистские лидеры. В интервью газете "Монд" 1971 г. Голда Меир, тогда премьер-министр, верно рассчитывая на понимание европейцев, заявила, что ничуть не озабочена непризнанием Израиля арабскими странами. "Эта страна, - сказала она, - существует на основе обетования самого Господа. Было бы нелепым испрашивать у кого-то еще подтверждения ее легитимности." Хотя она, наверное, верила в то, что говорила, в Декларации Независимости, которую, среди прочих, и она подписала, имя Б-жье все же не упоминается. Это не случайно.

Упоминание Б-га в Декларации Независимости Еврейского государства превратило бы процедуру признания Израиля в религиозный диспут, прежде всего, в самом Израиле.

Для русских евреев доперестроечных времен существование Израиля виделось естественным непреложным фактом, альтернативным противоестественному существованию Советской власти. После Перестройки советские евреи восприняли израильский Закон о Возвращении, как закон природы.

Вольно или невольно, все мы сделали экзистенциальный выбор. "Отступать некуда - позади Москва!". Вкусив западного образа жизни в израильском варианте, мы не очень-то нуждаемся в оправдании нашего существования, как никогда не было его и в нашем советском статусе. Истина безбожного гуманизма состоит в том, что право на существование дает только сама способность себя защитить. Это та сторона израильской действительности, которая русским евреям совершенно понятна.

Господствующий в юриспруденции Запада `"легальный позитивизм" также признает закон реальным лишь в том случае, если он эффективно может быть воплощен в жизнь. Это означает, что в конечном счете, как и тысячи лет назад, всякий закон основывается все-таки на примате силы.

По-видимому, такое положение продлится еще и в будущем, пока не придет Мессия. И пока его все нет, законность существования Израиля не будет обеспечена, если она не сможет быть подкреплена силовыми, вне-юридическими доводами, как это происходило и происходит в Кувейте, Судане, Боснии, Косово и других странах. Сейчас и потом. Это та сторона израильской действительности, которая особенно не импонирует евреям западного происхождения.

Сионистская идея может быть в той или иной форме принята (либо оспорена) только народами, для которых библейская традиция что-то значит. Участие в мировой политике стран, далеких от этой традиции (Индия, Китай, Арабские страны) совершенно меняет уровень рассмотрения проблемы.

Вот что пишет в очерке истории Израиля популярная журналистка:

`"Хотя это произошло 35 веков назад, именно с Ветхозаветной истории Авраама, с миссии, возложенной на него Богом, и Его обетования о земле ("Твоему потомству дам Я эту землю") мы начнем изложение истории современного Израиля, каким бы странным это ни казалось на первый взгляд... Не столь существенным представляется нам вопрос, жил ли Авраам на самом деле или он послужил лишь крайне важным символом. Но, что действительно исполнено значения, что влияет непосредственно на повседневную жизнь Израиля, Ближнего Востока, а значит, и большой части современного мира, что является для миллионов людей источником вдохновения, либо священным писанием, либо легендой и анахронизмом, или даже дезинформацией, - это Обет и многочисленные его толкования, возникшие за истекшие с тех пор тысячелетия." (Рина Самюэль, `История совр. Израиля",1993)

Таким образом существование государства Израиль бросает

вызов фундаментального характера и тем, кто верит, и тем, кто не верит в бытность Завета и Обетования. (Особенно тяжело тем, кто так свято верит в Завет, что вынужден отвергнуть и само это государство по формальным признакам, нарушающим детали условий, описанных в Первоисточнике, т.е. членам немногочисленной группы "Нетурей Карта", которые не могут признать Израиль, пока не придет Мессия.)

Основная часть населения Израиля природой заведомо обречена на гуманистическое прочтение обетования, позволяющее их безалаберно свободную жизнь, ибо никакой другой они бы не выдержали.

На всей остальной Земле только небольшое меньшинство в какой-то степени заинтересовано знать, что же, на самом деле, обещал Господь евреям на горе Синай и значит ли это что-нибудь для сегодняшнего дня. Но как раз только среди этого меньшинства гуманизм и имеет некоторое заметное распространение.

Будучи недостаточно формализовано, гуманистическое мировоззрение в других своих аспектах производит впечатление безграничного свободомыслия, чуть ли не формы атеизма. Человек, приобщившийся к этой цивилизации на одном из последних ее этапов, с трудом сможет объяснить, почему, собственно, не "все позволено". (Ведь Бога, как будто, нет... Или, может быть, Он всего лишь не упоминается всуе?)

Только глубоко укорененным ее носителям ясны исходные аксиомы. Без них, однако, все здание грозит оказаться слишком шатким.

(Можно, конечно, не верить и пяти аксиомам Эвклида. Однако, без них вся его геометрия лишается доказательной силы. Можно, впрочем, построить и другую геометрию. Но с ней вряд ли удалось бы достигнуть в истории столь же впечатляющих технологических успехов.)

Только в среде вышеупомянутого меньшинства, собственно, и происходит то непрерывное творческое (социальное и технологическое) совершенствование, которое невольно заражает и весь остальной мир идеей прогресса. Такое брожение, по-видимому, и возможно лишь в обществе, где постоянно остается некая неуверенность в окончательном характере известных истин. Однако, эта неуверенность в нашей части человечества происходит не от иронического отношения к истине, а от фундаменталистского стремления ко все большей ее полноте.

Более многочисленные в мире фундаменталисты-мусульмане уверены, впрочем, что Мухаммед в свое время уже решил большую часть мировоззренческих вопросов и истинно

верующим остается лишь следовать его простым и ясным указаниям. Среди прочих, он решил и еврейский вопрос, навсегда отменив Божье обетование.

В этом, как и во многом другом, Ислам - нормирующая теория - натолкнулся на неодолимые препятствия со стороны фактического положения дел. Пророчества Мохаммеда, чтобы остаться верными, настоятельно требуют исправить имеющийся в мире непорядок. Это обрекает мусульманский фундаментализм на грандиозную по масштабам борьбу со всем Западным миром, которая еще может вдохновить множество амбициозных романтиков и выдающихся вождей. Более скромные среди них готовы ограничиться и менее масштабными проектами, вроде уничтожения Израиля, убийства Салмана Рушди или, на худой конец, какого-нибудь одинокого пенсионера в скверике.

В соответствии с законами американской серийной кинодрамы, в тот самый момент, когда американский профессор Фрэнсис Фукуяма провозгласил конец Истории, у нее четко обозначилось начало новой интриги.

Никто не спрашивал нас, израильтян, старых или новых, хотим ли мы играть на этой сцене и нравится ли нам наша роль. Но изменить ее нам не дано, потому что наш фундаментализм состоит в нашем стремлении остаться полноправными членами той части мира, которой гуманизм не позволит однозначно решать, что именно диктует в каждый данный момент Б-жья воля.

Большинство же человечества в любом случае останется только зрителями, которым предстоит встретить умеренными аплодисментами равно благополучный или трагический финал этой драмы идей, не слишком отягощая себя сопереживанием.

Западники и "библиофилы"

Еврейской Библии по справедливости приписывают открытие феномена Истории. Не просто пересказа отдаленных и отделенных друг от друга событий, а некоторого связного сюжета, который существует в объективной действительности и куда-то ведет (или заводит) народы. Всякий человек способен ощутить соучастие в таком сюжете, как ценность, как повод для гордости или стыда.

В России впервые воспринял эту идею в полноте П.Я.Чаадаев: "Народы - в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных

людей воспитывают годы. ... Это и составляет атмосферу Запада; это - больше, нежели история: это физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Мы живем одним настоящим... без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе... Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно... Каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является Бог весть откуда. Исторический опыт для нас не существует."

Осознание Чаадаевым идеи индивидуального исторического пути оказалось для нации чревато роковым выбором: суждено ли и России следовать общечеловеческому (в те времена человечеством признавалась только Европа) стандарту в истории или ей предназначена особая миссия ("Умом Россию не понять... В Россию можно только верить.").

Относительно этого фундаментального вопроса общество разделилось на "западников" и "славянофилов", и это деление до сих пор вызывает оживленную полемику и ожесточенную вражду.

Хотя для человека, знакомого с последующим блестящим взлетом российской культуры, чаадаевская характеристика выглядит чрезмерно суровой, в ней содержится частичное объяснение той загадочной стремительности, с которой Россия, спустя меньше чем столетие, эту свою культуру растеряла. Почти целый век напряженных идейных поисков, художественного всевидения, пророческих прозрений русского культурного круга, провалился разом в небытие, выпал из летосчисления, как Атлантида, опустившаяся на морское дно.

Новый российский народ после 1917 г. покушался не следовать историческому опыту предыдущих поколений (выбиравших, хотя и с грехом пополам, западный путь развития), а преодолеть и отбросить влияние прошлого, в ходе осуществления своего собственного, оригинального утопического проекта

("Мы наш, мы новый мир построим"). Но, конечно, пути осуществления этой утопии были продиктованы именно опытом предыдущих поколений. Поэтому все варианты советского исторического сознания были лишь разными формами мифологизации и фальсификации действительности. Подлинной истории в России 50 лет не существовало.

Ближе к концу Советской власти российский народ опять очнулся в том же культурно неустойчивом психологическом состоянии "чуждости самому себе", в котором он пребывал во

времена Чаадаева - между "западниками" и "славянофилами". Западники сулят достаток и свободу, славянофилы манят государственным величием и покоем.

При таком делении (и сопутствующем ожесточении) в предперестроечном российском обществе юридической (собственно, "западной") идентификации гражданина оказалось уже недостаточно и - сначала подпольно, а потом и общепризнанно - к выбору этому припуталась дополнительная, этническая характеристика - "пятый пункт". Это немедленно сказалось на судьбе национальных меньшинств в Империи и превратилось в серьезный фактор, предопределявший политическое поведение.

Тогда-то и вышел на сцену Александр Солженицын, писатель, взявший на себя лично задачу вместить историческое сознание русского народа.

Если А.Сахарова можно было бы условно назвать "западником", то Солженицына с той же степенью условности можно было бы назвать "славянофилом".

Технократические идеи Сахарова были предназначены советскому обществу в целом и импонировали, в основном, технократически орентированной элитарной группе (в которую угодила и подавляющая доля еврейского населения). Чувства же и опасения Солженицына разделяла широкая, социально и политически нерасчлененная, масса титульной нации. Это сочувствие далеко от всяких идей и основано на интуитивных народных притяжениях и отталкиваниях, которые художнику так легко предугадать.

Оставим "западную" надежду узнать, какой путь "правильный". О правильности пути мы в жизни узнаем только по тяжести расплаты за "неправиль-ное" прошлое.

Для нас, нынешних израильтян и бывших русских евреев, к счастью, нет необходимости принимать взгляды Солженицына или отвергать их. Как и весь остальной мир, кроме России, мы находимся на периферии его писательского внимания и не состав-ляем существенной части аудитории. Мы потому и оказались вне России, что решение этого коренного вопроса русской истории предоставили оставшимся.

Он пишет не для нас. Определяющий этот факт не сразу доходит до русскоязычных читателей на Западе. Однако, в том, что Солженицын пишет, содержится много важного и для нас.

Попробуем понять его, не примешивая собственных пристрастий,не сверяясь со своими интересами. Как рекомендуют философы со времен Сократа: "Не восторгаться, не негодовать, но - понимать".

В соответствии с русским идеалом писателя, от которого ожидают больше, чем просто литературы, Солженицын в своих книгах строит свою собственную историю, социологию и антропологию России XX века. Погруженный с головой в этот грандиозный замысел, он сплошь и рядом перестает быть писателем, и выяснением для себя увлекается больше, чем изложением для читателя. Человек, взявший почитать его роман перед сном, вскоре отложит книгу.

Вопросы, на которых останавливается его испытующий дух, приличествуют скорее титанам, на чьих плечах держатся небеса,чем простым смертным, ищущим как бы избежать личной ответственности прочтением великого писателя: "Извечная проблема, нигде не решенная и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей, или как заковать в обязанности, не давая прав?"

Если в "Архипелаге ГУЛаг" такая особенность была предварена подзаголовком - "опыт художественного исследования" - в "Августе 14-го" автору пришлось объяснять такое отклонение от "нормы" уже в самом тексте: "Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки..."

Конечно, русская история дает достаточно веских поводов оправдать любое жанровое отклонение. Но, еще за сто приблизительно лет до Солженицына, и Лев Толстой то и дело прерывал повествование, чтобы на десятках страниц высказывать свои взгляды на историю, социологию и природу человека, несмотря на то, что историки тогда еще наслаждались безопасностью, а история России не была, по-видимому, изломана.

Как и Л. Толстому, А. Солженицыну тесны жанровые рамки, и его романы - не совсем романы, а "повествованье в отмеренных сроках", и книги его - не книги, а "узлы". Можно понять тех, кого это раздражает, но суть дела все же, по-видимому, не в тщеславии выдумать новое слово, а действительно в неком ином принципе, который в свое время сделал творчество Солженицына в такой же степени "новым", как и "архаическим".

Тема художественного исследования "Архипелага ГУЛаг" поддается определению, кажется, легче всего. Исследуется возникновение и развитие величайшей в мире карательной системы, сумевшей за полвека изменить почти до неузнаваемости облик целого народа. Исследуется способность и готовность этого народа, и человека вообще, сопротивляться, терпеть или

способствовать собственному угнетению и порабощению.

Почти в начале книги (во всяком случае, для меня это было началом) автор задается вопросом, почему советские граждане так рабски спокойно покоряются аресту, почему не кричат, не сопротивляются, не бегут... "Исследование" уже здесь превращается в проповедь, и вопрос обращается в призыв. Я помню, какое впечатление произвел на меня этот отрывок в самиздате. К тому времени меня уже не раз арестовывали, но этот раз я воспринял иначе.

...Нагоняющий шорох шин у обочины, открытые дверцы черного автомобиля, пристойно-свирепые лица, поблескивающие золотыми зубами из мягкой черноты. Неброские костюмы, обязательные галстуки, любезность казенных кабинетов: "Присаживайтесь, Александр Владимирович..."

Никогда больше я не соглашусь поддержать этот гнусный оттенок благопристойности! Ни за что больше не приму этого подмигивающего приглашения на казнь, этого подлого взаимопонимания, связывающего "советских людей со своими органами"...

Одним скачком я оказался позади машины и затесался в очередь, ожидавшую троллейбуса. Мотор взревел, и, въехав на тротуар, машина задним ходом врезалась в толпу. Народ брызнул из-под колес. Трое оперативников вцепились и мигом оторвали меня от земли, так что ноги мои не коснулись ее уже до самого места назначения...

Свободная воля, однако, даже и оторванного от почвы человека способна противостоять насилию, придав его телу твердость и форму, несовместимую с дверным проемом служебного автомобиля. Неравномерно сгибаясь и разгибаясь в воздухе, я успешно продолжал препятствовать работе оперативной группы. Правда, края автомобиля, о который бились мои выступающие части, казались мне все жестче, но уже торжествующим боковым зрением я успевал увидеть, как сопровождавшему меня Игорю Губерману удалось возбудить возмущение толпы, и вот они ведут сюда слабо упирающегося милиционера, "чтобы разобраться"...

Захваты роботов в неразличимых костюмах стали, как будто, ослабевать, и в этот короткий миг я сумел лягнуть в галстук направлявшего их оператора... Это и было моей роковой ошибкой: отсредоточившись от своей главной задачи, я уже не успел помешать им согнуть мое тело под надлежащим углом. В период зрелого социализма такую работу делают знатоки...

Милиционер после первых же слов проявил понимание и успокоил возбужденную толпу: "Совсем не безобразие. Берут, кого

положено. Те, кому надо!" Это заключение я узнал со слов Игоря, так как машина с моим телом в то время уже неслась, нарушая уличное движение, по московским улицам к заветному месту возле Гастронома No 18.

Что заставило меня так горячо отозваться на слова Солженицына? Почему я воспринял их как вызов, обращенный лично ко мне?

Как ни странно, ответ на эти вопросы содержится в весьма академической статье покойного С.С.Аверинцева "Античная литература и ближневосточная словесность": "На Ближнем Востоке каждое слово предания говорится всякий раз внутри непосредст-венно жизненного общения говорящего с себе подобными. Интеллектуальный фокус внутреннего самодистанцирования, наилучшим образом известный интеллигентному греку со времен Сократа, здесь не в ходу".

Сейчас я уже не вспомню, читали ли мы с Игорем "Архипелаг" непосредственно накануне, но помню точно, что мы живо обсуждали его - именно эту главу - "Арест".

Всем своим образованием, кругом знакомств и симпатий склонялись мы к иронии и самодистанцированию. Уж нам ли был неизвестен какой-либо из интеллектуальных фокусов, так удобно разделяющих мир на явление и сущность, литературу и жизнь, западников и славянофилов, "мы и они", наконец...

В духе всего нашего круга было бы оценить литературные достоинства отрывка и повздыхать о несопоставимости поэтической прозы с прозой жизни.

И в КГБ были разочарованы моим поведением. Стыдили: "А еще профессор!" Наводили на мысль о Сократе: "К лицу ли вам..." - и обещали к следующему разу обязательно руки и ноги переломать.

Сократ, как известно, не стал дожидаться, пока тогдашние специалисты начнут выламывать ему руки, и выпил предназначенную чашу с ядом, не пускаясь в авантюры, сохранив достоинство и дистанцию...

Нет, Сократа из меня не вышло, что и говорить. Но зато я получил ключ к пониманию Солженицына. На этот краткий миг мы вместе с Губерманом вошли в круг его истинных читателей.

Что помешало нам принять слова писателя с привычной долей иронии? Ведь не на Ближнем же Востоке воспитывались мы оба? И что тут было перво-причиной? Наш статус русских интеллигентов ("образованцев" по А.Солженицыну) или еврейская натура, чем-то все же близкая этому самому Востоку?

Внутри русской литературы всегда существовала тенденция

выйти за рамки собственно литературной формы и перейти непосредственно к "содержанию", то есть к жизни. Стремление превратиться в учебник жизни ("Что делать?") всегда толкало русскую литературу прочь от классических образцов в сторону библейской сумятицы. (Аверинцев называл ее "ближневосточной" лишь в ходе своего собственного сократовского самодистанцирования от реальности советской цензуры.)

Внутриситуативная заинтересованность порождает и жанровую неопределенность. Многие русские писатели незаметно для себя переходили от изложения к изобличению и от повествования к благовествованию. Кастовое сознание русской интелли-генции включает не только (и даже не столько) всевозможные интеллектуальные фокусы, но прежде всего **учительство, следование и жертву**.

Соответственно этому и ее литература выполняет не только эстетическую, но, гораздо чаще, этическую задачу. Отделить Солженицына от этой негреческой традиции невозможно. Его воспринимал в полноте только тот, кто читал его, как будто к нему это было обращено лично. Солженицына прочитывали и проникались только те, кто ждал от него ответа на вопрос "как быть?". И сам Солженицын ощущал, верил, что он призван дать ответ.

Продолжим любопытную мысль Аверинцева: "Сравнивая греческое и библейское отношение к слову, как образу мира, мы делаем не что иное, как познаем себя. Сравнивать мы должны, памятуя, что мы остаемся европейцами, и, следовательно, "греками". Внутри (греческой) культуры, которая... стала "нормой" для последующих, относительно литературы точно известно, что это есть именно литература (а не, скажем, пророческое вещание), и так же обстоит дело с жанровыми разновидностями: при взгляде на любой культурный продукт мы знаем, что он такое и по какой шкале его надлежит оценивать."

Это - безусловно декларация западника. Далеко не все представители русской культуры легко согласились бы присоединиться к этому категорическому "мы", что "остаемся европейцами, и следовательно, "греками". Солженицын (как, впрочем, и Л. Толстой с Достоевским) вызывает интерес всего мира именно тем, в чем он от этого определения отступает. Шкала, по которой его надлежит оценивать, не разработана.

Для нас, евреев, еще меньше оснований безоглядно отождествляться с "греками", и мы, быть может, больше других способны были бы понять Солженицына. Наши взаимоотношения с "греческой культурой, которая стала нормой для последующих", осложнены не меньше, чем солженицынские. Родство наше с

греками (как и классической русской литературы) сомнительно. Как писал тогда в своей дерзко иронической манере Игорь Губерман:

… А жена моя гречанка -
Циля Глезер из Афин.
Цилин предок - не забудь! -
Он служил в аптеке.
Он прошел великий путь
Из евреев в греки…

Однако, понимание, о котором я говорю сейчас, отличается от бесстрастного, "сократовского" понимания, упомянутого мною в самом начале. Такое новое понимание должно было бы включить сопереживание и соучастие...

Тогда при изменившихся обстоятельствах (а обстоятельства с тех пор действительно радикально переменились) оно неизбежно включит соответственно раздражение и противодействие. Быть может, это и есть, по крайней мере, одна из причин, по которой Солженицын такого сочувственного понимания от нас не ждет и не хочет.

Во всяком случае остается верным, что анализируя солженицынское отношение к миру, мы лучше познаем себя. Потому что дорога, по которой он отходит от европейского классического наследия, ведет его к Библии, источнику классическому для нас. И здесь лежат семена драматического конфликта, потому что невозможно читать Библию, не сопоставляя ее с реально существующим, вопреки всему, еврейским племенем. А такое сопоставление оставляет писателю слишком узкий путь между общенародной русской жаждой Богоизбрания и верностью букве Писания, заложенного в фундамент, так называемой, иудео-христианской цивилизации.

В сознании христианского писателя, независимо от его воли, оживает неразрешимая дилемма пророка Валаама: двойное побуждение - импульсивное намерение проклясть евреев и несформулированная (читатель, возможно, ожидает слова "подсознательная", но здесь уместнее над-сознательная) тяга благословить их.

Этой неразрешимостью Александр Солженицын и поделился с читателем в своей последней книге. "200 лет" - книга не о евреях. Эта книга о России - о себе, в сущности. Поэтому нет смысла останавливаться на ошибках (или искажениях) в истории евреев, которые якобы допустил автор. Ошибки эти укоренены в сознании писателя (и огромного множества его читателей) глубже, чем его интерес к фактической истории.

Нет сомнения, что в Российской Империи евреи были во

всех отношениях нежелательным элементом. До тех пор, пока жизнь народов будет оцениваться с точки зрения имперских интересов и в пределах русской цивилизационной модели, такие расхождения неизбежны. В терминах культуры, которая воспринимает, например, торговлю и денежные отношения, как низкую материю, нет смысла обсуждать правильность описания роли евреев в экономической жизни.

Солженицына совсем не заинтересовала не менее драматическая (и окончившаяся также массовым исходом) история 300-т лет русско-немецкого сосуществования. Он не высказался по поводу татарского ига. В отечественной истории его волнует только то, что он видит как фундаментальное.

Он возвращает внимание читателя к той исходной точке, на которой застал Россию П.Чаадаев. С жадным, ревнивым (и зачастую несправедливым) вниманием он сравнивает двухсотлетнюю историю своего народа с параллельным развитием еврейского мень-шинства, жившего в почти родственной близости, на самом пределе ассимиляции и все же сохранившего свою обособленность. Он силится рационально разрешить историческую загадку, которая остается неразгаданной уже тысячи лет.

В "Архипелаге ГУЛАГ" Солженицын хорошо понимал, кого клеймил, к чему призывал, и голос его звучал непререкаемой пророческой уверенностью. В последней же книге, особенно во втором томе "200 лет", пытаясь распутать переплетающиеся в столе-тиях нити скрытых обид и открытых притеснений, он и сам заколебался - может быть впервые в своем творчестве - знает ли он, что хочет выразить?

Начав с Российской революции, и невольно дойдя до невидимых (и неочевидных) пружин исторических судеб народов, Солженицын вплотную приблизился к апокалиптическим пророчествам, положенным в основу христианской культуры: "Все произошедшее за два столетия с еврейством в России ... - не игра случайных стечений на окраине истории. Еврейство закончило круговой цикл распространения ... - и теперь двинулось в возврат на свою исходную землю". И тут он вдруг отступает от своей, уже ставшей ему привычной, роли "знающего, как надо":

"В том цикле и в разрешении его - проглядывает над-человеческий замысел. И, может быть, нашим потомкам предстоит увидеть его ясней. И разгадать."

В такой неожиданной неуверенности, в этом осторожном "может быть" пророческая нота звучит еще яснее, чем это могло бы прозвучать в его категорическом суждении.

КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ

Молчи, скрывайся и таи
И мысли, и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи.
- Любуйся ими и молчи!

Эти прелестные стихи Ф.Тютчева особенно трогают в ранней юности, когда еще не сложился навык отделять свою мысль от чувства и молодой человек думает, что он одинок в мире, потому что он уникален...

Как сердцу высказать себя,
Другому как понять тебя.
Поймет ли он, чем ты живешь?
- Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи...
Любуйся ими!.. И молчи!

Мысль изреченная не есть ложь, но слишком часто - банальность. А чувство, сопровождавшее рождение мысли, было таким волнующим, таким пьянящим, что она казалась способной осветить весь мир... Однако, будучи выражена словами, оказывается неспособна даже взволновать любимого человека...

Наши чувства принадлежат только нам и не могут быть адекватно выражены словами, потому что язык - это общее достояние, результат векового коллективного опыта. Подобное выражается только подобным, и с помощью слов можно выразить лишь общезначимые чувства. Тютчев сделал это так мастерски, что и спустя 150 лет российские юноши способны ощутить иллюзию, будто он угадал их собственное уникальное чувство безысходного одиночества в мире. Одиночество это пугает. Начиная искать сочувствия себе подобных, мы нарушаем тютчевский завет молчания, подыскивая все более подходящие к случаю слова. Но настроения переменчивы, и слова, которые казались такими точными мгновение назад, меняют свое значение на глазах:

И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова...

Поэт мечтает высказать нечто, что воплотит его личное чувство во всей полноте и живости. Между тем написанная поэма

- это всегда конечная вещь, картина. Она статична, она уже не пульсирует, она сама собой во времени не живет ("остановись, мгновенье!"). Таким образом, поэт, как и математик, в творческом порыве стремясь освободиться от разрушающего (но зато и оживляющего!) действия времени, старается схватить подлинную конфигурацию переживания в его жизненной полноте разом, без присущей ему длительности. Больше того, письменный текст существует только в одном измерении - ведь слова могут следовать только друг за другом, - а события протекают одновременно и сразу в нескольких местах, то есть в четырех измерениях. Однако с помощью подбора слов, образов и умелого их чередования поэт мнит заворожить читателя - и себя самого - настолько, чтобы целиком погрузить(ся) в созданный воображением замкнутый, обладающий многими признаками реальности, мир, где зачастую непозволительные страсти и грандиозные, трагические события позволяют себя наблюдать.

Это парадокс - трагические события в жизни наблюдать нельзя: или они захватывают и ошеломляют, губят и отбивают чувствительность, или вы в них душевно не участвуете, - следовательно, и знаете о них не все. Время, как и связь событий, в действительном мире неустранимо, но... и неуловимо. Оно находится в таинственном соотношении с мнимым внутренним временем иллюзорного, поэтического мира, в который искусство заставило нас поверить, приняв его условности.

Эти условности в значительной мере соответствуют условиям физического эксперимента: Эйнштейн неоднократно говорил, что чтение Ф.Достоевского дает ему чрезвычайно много даже в чисто профессиональном плане. Обдумывая его слова, я понял, что он, по-видимому, имел в виду обстановку мысленного эксперимента, в которую Достоевский ставил своих героев.

Как строится эксперимент? Изучаемый объект искусственно изолируется от окружения - так чтобы устранить все посторонние влияния - и затем подвергается воздействию одного, строго контролируемого, фактора. С объектом что-то происходит - мы это наблюдаем и называем результатом.

Хотя звучит это чрезвычайно просто, такая процедура включает целую философию. Во-первых, мы должны убедиться, что действительно устранили все посторонние влияния. Какие из них посторонние, а какие необходимые? Как это все проверить?..

Некоторое время еще следует понаблюдать объект безо всяких воздействий, чтобы убедиться, что он не меняется сам по себе - то есть что он находится в устойчивом равновесном состоянии.

А сколько времени ждать? Когда можно считать, что равновесие уже наступило? В одном из экспериментов в моей лаборатории нам пришлось ждать семь месяцев, и я все еще не уверен, что это был конец. Во всяком случае, это был бы конец карьеры незадачливого аспиранта, который взялся бы за такую задачу. Впрочем, в научной литературе встречаются и большие времена выдержки...

Среди хаоса влияний, которые желательно устранить, мы сначала выделяем важные, существенные, и именно на них обращаем сугубое внимание. Мы изолируем объект от нагрева, внешнего давления, электрического и магнитного полей... (Однажды в моей практике оказалось необходимым устранить и ... силу тяжести. Теперь такие опыты делают на спутниках в невесомости.)

Даже после всего этого, если перед началом работы прочитать гороскоп, приложенный сегодня к каждой еженедельной газете, можно основательно усомниться в том, что какой бы то ни было эксперимент имеет смысл. Ведь согласно гороскопу все события на земле зависят от расположения звезд... Что-то в этом есть - безусловно, все в природе связано.

Влияние звезд, однако, мы устранить не сможем и не знаем, когда это влияние скажется на нашей лаборатории. Им, скорее всего, придется пренебречь. По-видимому, первым экспериментатором мог стать только человек, готовый пренебречь вековым авторитетом астрологии... Но все же почему-то склонный верить, что в космосе действуют те же законы, что и на земле. Это совсем не было очевидно до того, как законы механики Ньютона были выведены из законов движения небесных тел.

Механика Ньютона обязана своим возникновением именно тому, что за небесными телами люди наблюдали гораздо внимательнее, чем за земными (может быть, и под влиянием астрологии).

Мы устраняем все посторонние факторы, которые нам известны, заранее смиряясь с тем, что известно не всё, и потому мы должны быть готовы к неожиданностям. (Вот такой неожиданностью для меня и было влияние силы тяжести на тепловые свойства жидкости.) В сущности, с самого начала мы знаем, что изолированный объект - это недосягаемая мечта, идеализация, платоновская идея.

Пусть изолированный объект это лишь идея, но зачастую влияние многих факторов действительно достаточно слабо, чтобы ими можно было пренебречь по каким-нибудь известным (то есть кое-что нам все-таки бывает известно еще до опыта) или неизвестным причинам.

Тогда вступает другое соображение: что именно мы наблюдаем, - действительное свойство объекта или только его реакцию на наши усилия?

С природой не сговоришься: "Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать..." Даже, чтобы измерить собственную температуру, приходится порой засунуть термометр в такое место...

У многих температура от этого повышается.

Неустранимое влияние самого процесса измерения на объект присутствует в любом эксперименте. Извлечение информации неразрывно связано с потерей энергии. И чем точнее и подробней информация, тем больше соответствующая потеря. Античный миф о ложе Прокруста гениально выразил эту истину. Суть ее просто в законах термодинамики. Собственно, это должно было стать ясным, уже когда мы ввели термин "изолированный объект".

Возможно ли наблюдать изолированный объект? Изолированный объект так же нельзя наблюдать, как нельзя построить вечный двигатель. Чтобы его наблюдать, необходимо вступить с ним во взаимодействие...

Таким образом, наблюдение без внешнего воздействия - это тоже только идея, поэтическая мечта, тема фантазии романа Герберта Уэллса - "Человек-невидимка":

А может, высшая победа
Над временем и тяготеньем -
Пройти, чтоб не оставить следа,
Прокрасться, не оставив тени
На стенах... Вычеркнуться из широт.
Так временем, как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...

Вот с такими средствами мы исследуем окружающий мир. Профессионализм состоит не в том, что мы умеем делать то или это, а в том, что мы знаем (и оговариваем) количественную меру достоверности всех процедур и готовы их ревизовать, в случае обнаружения несогласованности.

Поскольку мы не можем избежать идеализации в процессе измерений, мы должны смириться и с тем, что наши результаты, то есть добытые нами истины, тоже представляют собою идеализации, схематические изображения реального мира, точность которых не больше, чем точность предположений, положенных в основания опыта. Эта приблизительность и позволяла зачастую объяснять принципиально новые явления причудливыми, но основанными на старых идеях способами (теория теплорода, механические модели максвелловской теории

электромагнитного поля и т.п.).

Неожиданно содержательным оказалось непримиримое столкновение корпускулярной теории света Ньютона и волновой теории Гюйгенса. Еще более волнующим оказался случай, когда одно и то же явление могло быть описано той или другой теорией в зависимости от типа эксперимента, в котором оно проявилось. В спорах о том, является ли электрон частицей вещества или волной, сказалась, наконец, недостаточность наших представлений, основанных на повседневном опыте.

Когда мы из укрытия наблюдаем за прохожим, мы можем тешить себя мыслью, что он не заметит, куда упал луч света, отраженный от его тела. Но, если наблюдаемым объектом станет частица субатомных размеров, этот луч непременно (и необратимо) изменит ее судьбу, ибо действие луча света на электрон - это не меньше, чем удар ломом по голове человека. Квантовая механика это неустранимое влияние наблюдения узаконивает и количественно оценивает. Таким образом, ее принципы гораздо ближе к здравому смыслу, чем это принято признавать в общедоступной литературе.

В субатомном мире, таким образом, мы встречаемся с необходимостью включить в понятие "эксперимент" не только наблюдаемый объект и запланированное нами воздействие на него, но и способ наблюдения, то есть, в сущности, наблюдающего субъекта. Если в отношении "изолированного объекта" и "невозмущающего наблюдения" мы еще могли довериться идеальным схемам, платоновским идеям, то идеализировать наблюдателя, то есть самих себя, нам гораздо труднее. Здесь нам на помощь отчасти (но лишь отчасти!) приходит компьютер, который ближе всего к платоновской идее "незаинтересованного наблюдателя".

Достигнутое таким образом в XX в. более тонкое понимание самой сущности "опытного знания" вскоре распространилось и на язык, литературу, психологию и социологию, где человек выступает одновременно и как наблюдатель, и как наблюдаемый объект. При такой постановке "эксперимента" (уже совсем по Достоевскому) мы не всегда можем предвидеть, какое из наших наблюдений приведет к более глубокому пониманию, а какое окажется обманчивым, периферийным и уведет в сторону.

Научные понятия, введенные профессионалами для удобства оперирования, сразу входят в наше сознание в виде идей, минуя стадию непосредственного опыта. Соответствующий

опыт есть только у профессионалов.

В пределах профессионального общения это не вызывает трудностей. Но при переходе к обычному языку не стоит приписывать научным терминам простой, вещный смысл.

Язык - это общее достояние, и профессионалы всех профессий - часть человечества, которая невольно (и бесконтрольно) вбрасывает в язык свой профессиональный жаргон. Это, конечно, относится и ко всяким другим, не полностью замкнутым группам людей. Слова, которые в первоначальном языке могли значить нечто, быть может, очень простое, через некоторое время нагружаются дополнительными оттенками смыслов, которые они вбирают из профессионального опыта разных социальных групп и отпечатываются в психологии всех носителей языка.

Обыкновенному слову "ядро" уже не легко будет вернуть его первоначальный, невинный смысл - ядро ореха. И "частица" в сегодняшнем языке редко означает "малую часть". Язык научной и научно-популярной литературы захватил интересы миллионов людей и сильно повлиял на сознание широких масс в XX в. Отблеск ядерных взрывов добавил научным терминам незапланированную дополнительную экспрессию. Увлечение пассионарной (первоначально очень небольшой) группы ученых ядерной физикой спустя короткое время привело не только к созданию целой новой техники и гонке вооружений, но и оставило необратимый след также в языке и в общественном сознании.

Между вещами и идеями всегда останется бездонная иррациональная пропасть, через которую человек то и дело перебрасывает ненадежный, качающийся, висячий мост из слов и символов...

Эдуард Бормашенко в своей статье ("22", N137) удивляется, что "Тысячи лет иврит функционировал, обходясь без абстрактных понятий, неся на себе огромную письменную культуру и успешно решая свою основную задачу - служить средством Б-гопознания. Гибкий, выразительный язык ТАНАХа позволял мыслить о предельно абстрагированном Вс-вышнем, не имеющем пластического образа, не прибегая при этом к отвлеченным идеям. Этот парадокс требует разрешения, и это разрешение отчасти инспирировано философией Дж. Беркли".

Для индивидуального Б-гопознания, может быть, и достаточно быть солипсистом, к чему и склонялся епископ Беркли. А для жизни среди людей, в миру, необходимо нащупывать связь между вещами и идеями. Философский

фанатик Л.Витгенштейн завещал нам "молчать о вещах, о которых нельзя сказать ясно", но его призыв столь же правилен и столь же бесполезен, как и призыв Ф.Тютчева, поставленный в начало этой статьи.

До тех пор пока человек окружен вещами, он вы-нужден их называть и этими названиями оперировать. Назвать своим отдельным именем каждую вещь из бесчисленного их множества он не в силах. Хотя, как известно, эскимосский язык включает более двадцати разных названий видов снега, все же и 20 - лишь очень малое число по сравнению со всем множеством оттенков реальности. До тех пор пока человек пользуется разумом для ориентации в мире, он вынужден классифицировать вещи и создавать понятия. Это не философская причуда, распространившаяся в западном мире, а практическая необходимость адекватно передавать знание. Как проницательно замечает в той же статье Бормашенко: "чем более абстрактно знание, тем меньше потери при его передаче". Без операций с идеями и символами мир и сейчас не отошел бы от уровня каменного века. Я думаю, в какой-то мере, это могло бы повредить и Б-гопознанию.

Однако всегда остается сомнение в том, что язык, в его конечности, способен вместить реальность. Даже если язык и открыт к дальнейшему развитию, остается сомнение в существовании у человека в каждое историческое время достаточного объема оперативной памяти для адекватного использования всех средств языка. В этом смысле я вижу философию как форму словесности, позволяющую эффективно различать максимально сближенные и сближать максимально удаленные понятия и вещи.

Неопределенность, заключенная в словах, столь велика, что вызывает иногда анекдотические недоразумения. Так, знаменитая статья Льва Толстого о Шекспире является одновременно и глупой, и проницательной.

Ее можно считать глупой, потому что Толстой не пожелал вникнуть в мир художественной условности другого гения - Шекспира. Но она проницательно отмечает все несообразности, преувеличения и сюжетные натяжки, которыми буквально пестрят трагедии Шекспира.

При пользовании языком следовало бы, как и в квантовой механике, принимать во внимание правило неопределенностей: чем больше энергетический заряд, эмоциональная наполненность данного слова, тем многозначнее его употребление, выше размытость значения. Однозначные термины (например, "лошадь" или "электроника") почти лишены эмоционального наполнения.

Экспрессивная речь, напротив, часто совершенно не содержит значимой информации (например: "Ух, суки! Мать их..!").

Виталий Лазаревич Гинзбург, выдающийся российский физик и недавний Нобелевский лауреат, всерьез озабочен усилением позиций религии в современной России и с большой страстью опровергает в печати то, что он считает вредными религиозными мифами. При нашей недавней встрече в Москве он серьезно спросил: "Верите ли вы в Бога?" Я не сразу ответил, и он с полемическим азартом интерпретировал это как следование интеллектуальной моде заигрывания с религией.

Если бы такой вопрос задал мне Э.Бормашенко, мой ответ был бы безусловно положительным, потому что я приблизительно знаю, что он под этим вопросом понимает. Но Гинзбургу, воспитаннику ранней советской традиции, я, вероятно, должен был бы ответить отрицательно, потому что в понятие бога он вкладывал сугубо церковные модели организации человеческого опыта. То есть два разных человека, задающие один и тот же вопрос, спрашивают, в сущности, о разном. Б-г Эдуарда Бормашенко - слово энергетически очень значимое, и потому в своем значении размытое. Для В.Л.Гинзбурга бог - слово, точно определенное в своем значении (например, церковным преданием или "Энциклопедическим словарем"), и потому эмоционально почти пустое.

В прошлом каждый цивилизованный человек в детстве получал более или менее религиозное воспитание, а уж потом по мере поступления новых научных сведений либо как-то согласовывал их со своей совестью, либо приходил к выводу, что его религиозные представления были неадекватны. Такая эволюция находится в гармонии с возрастным развитием у человека критической способности, которая составляет необходимый элемент мышления.

Религиозные системы предназначены вдохновлять и освобождать от неизбежных сомнений, обуревающих вдумчивого человека, едва он выйдет из детского возраста. Сомнение составляет нерв научно ориентированного мировоззрения, которое не может противоречить никакому религиозному убеждению, пока оба остаются в пределах своей компетенции.

Нам было суждено родиться в перевернутом мире. Еще в детстве, в возрасте веры, нам внушили некоторые научные идеи. Иные из них были вовсе недурны. Но с возрастом мы убедились, что и в религиозном мировоззрении содержалось неузнанное нами в молодости обаяние. Во всех западных странах дети теперь так воспитываются, что научные идеи им понятнее и ближе, чем религия предков. Так как они еще не научены сомневаться,

именно этим идеям суждено остаться для них тем начальным набором мифов, воспринятых без критики, на котором основывается всякое дальнейшее понимание, - то есть, в сущности, их религией. Таким образом, в качестве твердой опоры выбирается как раз то самое, в чем ученому полагается сомневаться. Потому что все научные принципы, даже если они подтверждены вековым опытом, для ученых суть только более или менее основательные гипотезы.

Первоначальной опорой познания в нашей цивилизации был миф о существовании Единого ("Я - Господь!") и о Его небезразличии к нам и нашим делам ("Слушай, Израиль!"). Теперь то, что тысячелетиями служило предкам твердой опорой, в современном профанном мире как раз и подлежит доказательству.

Этот радикальный переворот в сознании грозит привести к крушению всю грандиозную пирамиду западной цивилизации. Потому что из логики мы знаем, что обратное утверждение не эквивалентно прямому.

По существу, весь букет новизны, который открылся непрофессионалам в квантовой механике, был - настолько, насколько это возможно в простой речи - тогда же, в 20-х годах, высказан в философской поэме Мартина Бубера "Я и Ты". Она написана именно о таком пристальном внимании "Я" - человека, как "заинтересованного наблюдателя", к "Ты" - человеку, Природе или Б-гу - которое исключает мифическое невозмущающее взаимодействие и опыт без соучастия.

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ

(Речь на собрании Национальной АН Израиля, посвященном присуждению А.Д.Сахарову Нобелевской премии Мира в1976.)

Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А.Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально произошло, только как человек, то есть если бы он не был ученым? Я думаю, что - нет. И этот мой ответ характеризует не столько А.Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем личном впечатлении о Сахарове как человеке.

Если бы А.Сахаров был политиком, он, я думаю, не выдержал бы конкуренции других, более бойких кандидатов на первых же этапах своей карьеры. Он не смог бы упрощать свою мысль для того, чтобы получить кратковременный успех, а тогда он не пробился бы до того уровня, на котором можно думать об успехе серьезном. Хотя политическая жизнь в СССР совершенно отличается от жизни в демокра-тических странах, сказанное равно относится и к демократическим странам тоже. А.Сахарова не выбрали бы даже членом муниципали-тета, потому что он бы слишком глубоко задумывался, прежде чем что-нибудь сказать, а ни у кого в этом мире нет терпения выслушивать.

Если бы Сахаров был писателем, он не имел бы успеха, потому что он не смог бы указать правых и заклеймить виновных, как делают писатели гражданские, и не оказался бы достаточно артистичен, как писатель лирический. У него не достало бы эгоизма привлекать весь мир в свидетели своих душевных неурядиц и не хватило бы одержимости говорить миру, который не желает слушать.

Если бы Сахаров был школьным учителем, на которого он похож своей добротой и манерой поведения, - стал ли бы мир к нему прислу-шиваться? И, когда бы его выгнали с работы или посадили в лагерь за те же самые слова, максимум, на что он мог бы рассчитывать, - это подписи нескольких добросердечных интеллектуалов под письмом в его защиту, направленным в советское посольство. А потом - на тихую жизнь, заполненную

скромным физическим трудом либо в ссылке в Сибири, либо в эмиграции, в Миннеаполисе...

Однако и, если бы он был просто ученым или даже великим ученым, ситуация бы не слишком изменилась. То есть, конечно, ученые прислушивались бы к его словам, и на международных конференциях, посвященных, в остальном, физике и строению мира, раздавались бы слова о научной свободе, о необходимости прислушиваться к ученым и т.д. (Только ученые в нашем мире знают, что необходимо прислушиваться к ученым. Все остальные знают только, что с учеными надо как-то поладить, то есть в конечном счете от них - и от их предложений - отделаться.) Поэтому и в этом случае слова Сахарова дальше ограниченного круга беспокойных профессоров (в большинстве евреев) не пошли бы. А он не стал бы предпринимать усилий, чтобы попасть в газеты, выступить по радио, встретиться с сенаторами и конгрессменами...

А.Сахаров - не просто ученый. Будучи человеком очень скромным, он как-то сказал мне: "Ну, какой я ученый? Я ведь, в сущности, изобретатель". Он несомненно преувеличивал, но, как всякий великий человек, очень точно видел суть проблемы. Суть проблемы в том, что миру не нужны ученые и сильные мира сего не ценят мудрецов. Сахаров есть Сахаров и для советских властей, и для западных обывателей не потому, что он ученый, а потому, что он - изобретатель. И изобрел он - ни много ни мало - водородную бомбу, от которой весь этот мир может взлететь на воздух.

Особенностью сегодняшней техники является необходимость быть ученым, чтобы изобрести что-нибудь значительное. Но это не меняет того основного факта, что мир интересуется вещами, а не идеями, явлениями, а не сущностью...

Собственно, если бы А. Сахаров не стал ученым, он вообще не смог бы сложиться как личность и не приобрел бы своего влияния. Только в науке пока еще не много значит большинство голосов (даже в искусстве - это не так), и только в науке основательность и глубина весят больше быстроты и практичности.

Медлительный, вдумывающийся в каждое слово, Андрей Дмитриевич, как бы прислушивающийся к неясно различимому голосу в себе и явно допускающий практические ошибки, мог бы быть принят только в обществе, где нет окончательных истин и где даже самый опрометчивый может оказаться прав...

Таким обществом сейчас (во всяком случае, в Советском Союзе) является только общество ученых, и Сахаров является одним из лучших представителей такого типа. Но в прошлом

такая атмосфера царила не среди ученых, а среди религиозных мыслителей, философов, отшельников, пророков. Мудрость Талмуда связана с таким относительным агностицизмом, и Евангелия характеризуются такой особой неуверенностью в фундаментальных вопросах, которая покоряет в Сахарове. Весы совести все время колеблются, и номинальный вес гирь сплошь и рядом не соответствует фактическому (а иногда и меняется со временем). Это происходит на твоих глазах, и ты смотришь и вдруг угадываешь: "Святой!" - Пожалуй, даже более определенно - христианский святой, подвижник, хоть сейчас в мученики.

Как, если бы он был представителем иного мира, посетившим нас для напоминания о чем-то забытом. Может быть о том, что и в наше время совершаются чудеса.

Не забудем, что главная функция всякого порядочного святого - умение творить чудеса. Скажем прямо: мир интересуется учеными, только потому что ожидает от них чудес. Все великие изобретения, которые так изменили лицо мира за последние десятки лет, воспринимаются обывателем и его государственным представительством как чудеса, которые способны творить одни личности и не способны другие. Популяризация науки и всеобщее образование нисколько не сглаживают разрыв между "учеными" и обыкновенными людьми, хотя эти люди могут быть не менее учеными и квалифицированными в своих областях. И вот - то самое, что неоднократно было им говорено и отброшено, слышат они от человека, творящего чудеса, и в душу закрадывается страх...

Разве слушал фараон Моисея? Но Моисей сотворил чудеса... Фараон задумался. Разве нужны были чудеса, чтобы понять, что говорил ему Моисей: "Мы пришли сюда свободными людьми, а теперь мы - рабы", "Отпусти народ мой" и пр. Но вот понадобились чудеса, и десять казней египетских, и огненный столп: и евреи свободны. И что же? Слушали ли они сами Моисея? - Нет! И опять в ход пошли чудеса...

Огненные столбы и атомные грибы вырастают, чтобы подтвердить простую мысль-заповедь: "Не убий!" Таких положительных чудес, как манна с неба или пенициллин оказывается недостаточно для усвоения этой мысли. Эти чудеса скорее балуют людей, учат не собирать в житницы и надеяться на авось. Чтобы удержать их от массового взаимного убийства, нужно что-то пострашней, и вот оказалось недостаточно даже динамита и первой мировой войны. Была и Вторая, и атомная бомба. И теперь - водородная...

Справедливо, что премию Нобеля, изобретателя динамита, присуждают Сахарову, изобретателю водородной бомбы, за

стремление к миру, за его мужественную борьбу в пользу прав Человека. Если человечество погибнет, оно погибнет не от водородной бомбы и не от динамита. Оно погибнет от собственного неразумия. Динамит сам по себе никого еще не убил. Обязательно была рука, которая этот динамит зажгла и бросила.

Впрочем, часто тот, кто бросал первым, получал преимущество и, может быть, уходил от возмездия.

Но чудеса Божьи совершенствуются, как люди. Тот, кто бросит бомбу теперь, не уйдет от возмездия. Народ, который замышляет убить другой народ, теперь смертельно рискует и подвергает риску весь мир вокруг.

Это страшно. Но я думаю, что это хорошо. Как и раньше, найдутся безответственные смельчаки. Но теперь, не как раньше, всем будет на это наплевать. Найдутся и те, кто удержит преступную руку. Не из благородства, к сожалению, а ради собственной безопасности. И это хорошо...

Таким образом, А.Сахаров (как и его американский коллега Э.Теллер) не несет вины за создание смертоносного оружия, а участвует как изобретатель в создании технического чуда, которое должно вразумить народы и направить их энергию на более осмысленные цели, чем смертоубийство.

Андрей Сахаров первый выступил с предупреждениями перед советскими вождями. Что значит выступить перед такими людьми с такими предостережениями, может себе представить, не выросший в СССР человек, только если он твердо помнит, что пророк Исайя был, по приказу царя, перепилен деревянной пилой. И все же, оставаясь на современной почве, скажем просто, что он выполнил свой долг ученого. Ибо, оценив все последствия своего изобретения, он уже перестал быть просто изобретателем и стал Ученым.

Наконец, идя дальше по этому пути, взяв ближе к сердцу людские заботы, Андрей Дмитриевич связал вопрос о Правах Человека с вопросом о Мире, и эта постановка вопроса все еще нова. Почти никто на Западе еще не понял, что война, которую советские власти ведут со своим народом, не может не коснуться и их. Запад еще не понял, что мирной может быть только страна, внутри которой царит мир, и отсутствие этого покоя в СССР есть смертельная опасность для всех.

Вопрос о Правах Человека не есть больной вопрос только для СССР. Больше 60% Объединенных Наций пренебрегают правами человека, и это значит, что опасность грозит миру со всех сторон. Большинство человечества не просто нарушает права отдельных лиц и групп. Большинство человечества вообще не

знает, что именно оно нарушает, и что Господь сообщил евреям на горе Синай. Поэтому у большинства нет даже общей почвы для переговоров. А.Сахаров пророчески указал на это всему цивилизованному миру и тем самым стал великим Человеком.

P.S. (1993)

В публичной речи (даже и в Израиле), невозможно передать то особенное личное чувство, которое вызывал к себе этот человек. Его странная шишковатая голова, его внимательный, но не пристальный взгляд, его странная, замедленная, запинающаяся манера речи, его странная привычка макать в горячий чай сыр со своего бутерброда остаются деталями картины, которая скрыта от стороннего слушателя. Даже та легкость отношений, которая позволяла за чаепитием попросту спросить его: "Андрей Дмитриевич, что вы делаете? Это же сыр!", и его спокойное объяснение, что он просто любит все есть в подогретом виде, каким-то образом входит в картину неповторимого обаяния его личности, которую полностью передать невозможно.

Еврейское движение в СССР и, в частности я лично, многим обязаны ему и Елене Георгиевне Боннер, принимавшим горячее участие в бесчисленных освобождениях меня из-под арестов, где я, вероятно, застрял бы на годы, если бы не их постоянная поддержка. Андрей Дмитриевич чувствовал, как дышал, что невозможно добиться свободы для себя, не дав свободы другому. Он ощущал, что только Россия, из которой можно уехать, может стать Россией, в которой можно будет жить. Ему не нужны были обоснования политической благоразумности такой позиции.

Как ни странно, некоторые диссиденты (они тогда назывались "демократами") относились к Андрею Дмитриевичу с прохладцей, не понимая (не оценивая) насколько его поддержка морально укрепляла их позицию и, в сущности, придавала смысл их деятельности. Идея правозащиты, принятая Сахаровским Комитетом (разработанная в деталях Валерием Чалидзе) у многих простодушных диссидентов вызывала прямой протест: "Как? Мы будем ссылаться на ИХ законы? Которые держат народ в рабстве!?" Это отчасти было связано с непониманием самого принципа советской системы, которая держалась отнюдь не на законах, а на произвольных толкованиях, освященных многолетней практикой безраздельного господства правящей элиты.

Я был знаком в своей жизни со множеством выдающихся людей. Сталкивался и общался со многими великими учеными. Но все остальные, великие и обыкновенные, друзья и враги, все вместе - это одно, а Андрей Дмитриевич Сахаров - это нечто совершенно другое. Сам факт знакомства с этим человеком сыграл большую роль в моей жизни. Моя жизнь была бы беднее, если бы я не знал его. Я мог бы упустить какую-то необыкновенно важную характеристику бытия. Уникальное свидетельство духовной природы человека. Его несводимости к банальному.

Конечно, он был великий ученый, и не менее великий "изобретатель", но главное заключается в том, что он сам был человеческим чудом...

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕМОН И РОССИЙСКАЯ СУДЬБА

По истечении 40 лет, которые прошли после "бурных 60-х" многое изменилось, и зачастую выглядит в ином свете. Но некоторые важные линии судьбы, напротив, только сейчас можно по-настоящему оценить и увидеть в сплетении общей хиромантической путаницы.

Молодому человеку в наше время уже трудно будет поверить, что идея правозащиты и вся деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова

в свое время не были встречены с энтузиазмом многими людьми, составлявшими героическую кучку "демократов", как называли тогда советских диссидентов. Я еще помню как формулировал раннюю точку зрения "демократической" группы протестантов покойный Толя Якобсон, талантливый поэт и один из создателей "Хроники текущих событий": "Наша деятельность не ставит себе никакой политической цели. Наш протест носит чисто моральный характер..." Толя и в самом деле был бесконечно далек от мысли о политическом маневрировании, хотя бы и в целях собственной безопасности, и сообщал это восторженной группе друзей-единомышленников как формулу их общей веры.

"Комитет Защиты Прав Граждан" Сахарова, Чалидзе и Шафаревича был создан через несколько лет, когда многих членов той трогательной первоначальной группы идеалистов успели уже посадить или сослать на разные сроки. Участие великого ученого, Сахарова, и новая, уместная в западной ментальности организационная форма - Комитет - придали этому начинанию грандиозный резонанс во всем мире, и иностранные журналисты резко сдвинули центр своего сочувственного внимания с остальных, "неорганизованных" диссидентов на эту, впервые четко оформившуюся в СССР, открытую оппозицию.

Может быть, частично в первоначальном отчуждении демократов от Комитета была виновата и несколько вызывающая манера, в которой излагал идеи "Комитета Защиты Прав Граждан" Валерий Чалидзе.

Сахаров не был слишком красноречив. Все первоначальные документы Комитета формулировал Чалидзе. История оказалась немилостива к нему. Его роль в событиях того времени редко отмечалась современниками по конспиративным причинам, а в

книге Александра Солженицына "Бодался теленок с дубом" содержится глубоко несправедливая, субъективная оценка его роли.

Суть дела в том, что Валерий до такой степени был чужд российской системе всеобщего бесправия и бессистемной анархической мысли, что и в своем языке не делал никакой поблажки советскому человеку, чтобы облегчить ему понимание его собственной ситуации на советском "ново-язе". В его, полной достоинства, отточенно последовательной речи обыватель чувствовал как бы упрек себе в том, что он позволяет деспотической власти так пренебрежительно с ним обращаться. Валерий выглядел, как написала Нина Воронель в своей книге "Без прикрас", портретным воспроизведением врубелевского "Демона" и вел себя соответственно. Как такой аристократ духа мог сложиться на советской почве остается одной из тайн, подчеркивающих непредсказуемость индивидуального человеческого поведения. Вопреки громко звучащей вокруг непоследовательной и эмоционально перенасыщенной речи, он говорил на монотонном, формализованном, почти математическом, языке политической корректности, когда это понятие не было еще общепринято и на Западе. Нервным, патетически настроенным на подвиг, юным оппозиционерам трудно было его понять.

Российские люди, в течение десятилетий через пень-колоду ведя свой полу-уголовный образ жизни, привыкли к совершенно иной постановке вопроса: "Ты за белых или за красных?". И в то же время: "Кто не с нами, - тот против нас!" Соглашаясь с такими формулами, советский обыватель автоматически вступал в беспринципный сговор с идеологами беззакония против объективности.

Поскольку Чалидзе требовал лояльности к писаному закону, советский человек сплошь и рядом понимал это, как лояльность властям. Но аналитический ум Валерия на самом деле подразумевал первоначальный, буквальный смысл советского закона, а не то произвольное толкование, которое укрепилось и стало общепринятым за десятилетия бесконтрольного господства партийной номенклатуры. Он вложил в это дело всю свою нерастраченную страсть ученого (он был квалифицированным физиком) и незаурядный интеллект казуиста. При помощи внимательного изучения Уголовно-Процессуального Кодекса РФ (который был его настольной книгой) и советской юридической литературы ему удавалось сплошь и рядом обнаружить, что подлинное содержание закона в СССР не соответствовало (по-видимому, не соответствует и сейчас) обычной практике его

применения. Зверские репрессии, которым в течение десятилетий подвергался советский народ, в сущности, никогда не имели законной силы и осуществлялись преступными руками вопреки или в обход законов.

Именно он открыл мне, что никакая научная, исследовательская деятельность в пределах Советского законодательства не может быть объявлена преступной. Это дало нам (группе ученых-отказников, привыкших облекать свои мысли в принятую в науке форму) уникальную возможность произвести самиздатское издание "Евреи в СССР", как антропологическое исследование еврейского этнического меньшинства в стране и регулярно собирать Семинар ученых-отказников, изгнанных из своих институтов. При этом, конечно, никак нельзя было сказать, что мы чувствовали себя в безопасности, полагаясь на эти виртуально замечательные законы, которые ведь скрыто присутствовали и все предыдущие годы советского режима, но мы все же предпочли на худший случай репрессий (как всегда, "необоснованных") опираться на закон, а не на переменчивые суждения властей.

Валерий, в сущности, пытался втянуть российских граждан, с их усвоенными с детства блатными привычками, и российские власти, с их вековой неспособностью к сдержанности, в содержательный диалог о буквальном смысле и пределах применимости правил, по которым они живут. И власти, и граждане по разным причинам не были к этому склонны. Не склонны они к этому и сейчас, когда отсутствие правовой культуры в России так остро сказывается на ее каждодневной жизни.

Но, к сожалению, была и общая причина всеобщей терпимости по отношению к беззаконию в Советском Союзе: и от обывателей, и от властей легалистская постановка вопроса требовала серьезных волевых и интеллектуальных усилий и ежедневного гражданского мужества, неведомого на российской почве.

Власти безосновательно предпочитали исходить из презумпции эмоционального единства устремлений всего советского народа. Первый же вопрос, который задавали допрашиваемому в КГБ был:

"Вы ведь советский человек?" Далее само собой разумелось, что это на деле означает ваше стремление всячески помочь КГБ в их самоотверженной работе. Советский же человек, твердо помня, где находятся миллионы НЕСОВЕТСКИХ людей (среди них зачастую и его родственники) и парализованный страхом, спешил в принципе согласиться, на ходу в нервной спешке находя для

себя увертки, дающие возможность практически уклониться от этого сердечного согласия, но никогда все же не заходя так далеко, чтобы его можно было открыто уличить в немыслимом нежелании помочь своим "родным органам".

К 70-м годам (в "застойные" Брежневские времена) такая постановка вопроса стала отчасти смущать даже и многих советских чиновников с высшим образованием. И с их стороны возникла, в те годы не до конца выявившаяся, тенденция придерживаться более корректной линии в своей повседневной практике.

Впервые это обнаружилось во время процесса Синявского-Даниэля, когда власти сочли возможным, хотя бы отчасти информировать общественность о ходе суда и допустить в судебный зал какую-то часть "непроверенной" публики. Они не пошли еще так далеко, чтобы допустить потенциальных свидетелей защиты - мы, например, с профессором Эмилем Любошицом ходили в Верховный Суд РСФСР набиваться в свидетели - но уже не выволакивали нас из здания суда и не рвали из рук бумаги. Почти сразу после этого Процесса в Уголовный кодекс была введена статья 190, смягчавшая "слишком волюнтаристские" формулировки 70-ой об "антисоветской пропаганде" до уровня более спокойных "заведомо клеветнических утверждений". Все же малограмотная чиновничья рука вставила сюда эпитет "заведомо", обессмысливающий обвинительный характер закона...

Диалог не состоялся. Валерия Чалидзе под угрозой ареста выслали из страны где-то в начале 1973 г., и он поселился в Нью-Йорке, где много лет потом издавал правовую литературу, предназначенную для контрабанды в Россию ("Чалидзе пабликейшенз").

Во время одного из моих "приводов" в КГБ интеллигентный полковник светски благожелательно объяснил мне, что, хотя моя самиздатская книжка "Трепет забот иудейских" не требует немедленно обязательного применения статьи 70-й УК, но все же некоторые ее положения отлично подпадают под статью 190-ю. Пользуясь необязательным тоном нашего разговора, я возразил, что в моей книге "заведомой клеветы" быть не может, потому что, если бы я "заведомо" знал, что это неправда, я бы просто этого не написал. "Да, - небрежно обронил он, - эта статья неудачно сформулирована, но вы ведь понимаете, о чем я говорю"...

Спустя пару лет почти такой же разговор повторился в гораздо более острой боевой обстановке, но все же опять с обоюдным пониманием несовершенства наличной юридической практики. На этот раз меня притащили к другому полковнику

силой и потребовали, чтобы я подписал, что мне было предъявлено предупреждение о том, что моя деятельность подпадает под статью 190. Я категорически отказался.

"Почему вы отказываетесь?" - с любопытством спросил этот другой полковник. "Потому что вся моя деятельность от начала и до конца не содержит никакой заведомой клеветы. Все - чистая правда!" "Действительно, - внезапно согласился и этот полковник, - до этого моего предупреждения вы могли и не знать, и даже думать иначе, но теперь я вас предупредил, что это клевета, и теперь вы это знаете, так что, тем самым, в будущем это становится заведомой клеветой!"

Тут у меня невольно вырвался отчаянный выкрик Паниковского в почти аналогичной ситуации: "А вы кто такой?" Он твердо ответил, что он представитель Государственной безопасности СССР и, как раз, уполномочен решать, что - клевета, а что - нет. Вспомнив трудные уроки Валерия Чалидзе, я столь же твердо возразил, что только суд может решить этот, почти философский, вопрос.

Вместо того, чтобы зря рассердиться, полковник вызвал из-за двери, по-видимости околачивавшихся там с утра Иванова и Петрова, и приказал: "Подпишите, что задержанному гражданину Воронелю при вас было предъявлено предупреждение об ответственности по статье 190 УК, которое он отказался подписать." На этом этапе счеты российских властей с законом в 1974 г. были вчерне закончены.

Вскоре были закончены и мои счеты с бывшей родиной. Под новый 1975 год я вылетел из Шереметьево в большой мир, где не подозревают о большей части российских проблем.

В следующем 1976 г. я был с визитом в Австралии, когда в России уже принималась новая ("Брежневская") конституция. Один из журналистов спросил меня, как я оцениваю этот политический сдвиг в СССР, и я ответил, что вижу в этом безусловный шаг вперед.

"Но, как же так, - поразился он, - ведь старая Конституция (она звалась Сталинской, хотя была составлена, в основном, Бухариным) была гораздо демократичнее!?"

"Нет, - пришлось мне объяснить этому розовому либералу - старая Конституция писалась не для выполнения в объективной реальности, а для международного престижа и рекламы идеального социалистического общества будущего. К жизни советского народа эта конституция никакого отношения не имела. А в новой конституции присутствует, хотя бы только частичная, тенденция к реальному следованию в обыденной гражданской жизни."

Я не уверен, что тамошний журналист меня до конца понял, но университетский коллега, который меня сопровождал, необычайно развеселился и сказал, что теперь только он впервые уловил, что подразумевается под "загадочной русской душой"...

Загадочная русская душа оказалась не по зубам и прекрасному грузинскому принцу с внешностью печального демона, как и многим поколениям русских либералов и правозащитников до него.

ЭДВАРД ТЕЛЛЕР И МИРСКАЯ СЛАВА

Однажды после заседания попечительского совета Тель-Авивского Университета ко мне в коридоре подошел пожилой джентльмен и в небрежной американской манере спросил, был ли я в России знаком с профессором Ландау.

Я только что выехал из Советского Союза и сильно запинался при разговоре по-английски. Но все же сумел выразить, что был, конечно, знаком, но не слишком близко, потому что я не теоретик... Тут он меня перебил и азартно закричал: "Ну и как, он до самого конца остался таким же дураком, как и в 30-е годы?!..."

Не уверенный, что я правильно понял этот ошеломляющий вопрос, я смущенно забормотал, что учился физике по его гениальному "Курсу Физики" и не совсем понимаю... Он отмел все мои возражения одним взмахом руки: "Я ведь не о физике говорю. Я говорю, что он был фанатично предан Советской власти и верил всем их идиотским выдумкам..."

Эксцентричный джентльмен, который не догадывался, что в 30-е годы я вряд ли смог бы судить об умственном уровне Ландау, оказался профессором Эдвардом Теллером - великим физиком и отцом американской водородной бомбы. В молодые годы он вместе с Ландау участвовал в Семинаре Нильса Бора в Копенгагене и, оказывается, вступал там в горячие споры с ним по политическим вопросам.

Ландау был тогда не одинок. Бесчисленное множество молодых интеллектуалов в Европе всерьез в то время (да ведь и сейчас!) верило, что стоит "научить каждую кухарку управлять государством", как жизнь на земле потечет по иному сценарию. Волки станут пастись вместе с овцами, люди полюбят друг друга и т.п.... Вслед за редкими советскими вундеркиндами, которых советские власти посылали за границу для обучения, вроде Ландау, Шубникова, Капицы и других, сотни западных идеалистов рванулись в Россию строить страну победившего социализма. И там искренне пытались слиться и отождествиться...

Некоторым потом удалось вовремя унести ноги. Другие погибли. Им несть числа. От третьих произошли такие устрашающие плоды, как Миша Вольф - будущий глава восточногерманского ШТАЗИ.

После приезда на родину Ландау работал в УФТИ (Украинском Физико-Техническом Институте) в Харькове, где в 30-х Флеровым и Петржаком впервые был проведен успешный

опыт по расщеплению ядра урана. Там вместе с ним работала сильная группа немецких и австрийских энтузиастов, которые сделали этот институт авторитетным за границей, и которых впоследствии всех обвинили в шпионаже. Как написал через несколько лет в своем донесении в НКВД директор этого заведения: "в институте возник заговор под руководствоством Л.Д.Ландау и А.Вайсберга * для саботажа военных работ".

**** А.Вайсберг приехал в Харьков из Берлина в начале 30-х. Вместе с Л.В. Шубниковым (приехавшим из Голландии) - он создатель низкотемпературной лаборатории в УФТИ. В 1937 г. после двух месяцев следствия Льва Васильевича Шубникова расстреляли, "как врага народа". Вайсберга (как германского подданного) после трех лет скитаний по советским тюрьмам выдали Гестапо в ответ на письма к Сталину от Эйнштейна и других нобелевских лауреатов. В 1951 г. во Франкфурте на Майне вышла его книга "Ведьмовский шабаш" о его опыте жизни в СССР и сталинском терроре. Верно ли, что до "Архипелага ГУЛАГ" люди на Западе ничего об СССР не знали?***

Профессор М.Каганов ("22", N 117), работавший с Ландау в шестидесятые годы, свидетельствует, будто Лев Давидович впоследствии укорял себя, что понял суть советского режима лишь только после того, как арестовали его самого.

Поскольку я был знаком с ним гораздо позже этого события, мне было легко заверить Теллера, что по моим наблюдениям Ландау в последние годы дураком совсем не был. В начале "оттепели" Ландау стали приглашать с популярными лекциями и часто он высказывался настолько неортодоксально, что приводил в шок советскую публику. Я помню, как после одной из таких лекций случайно подслушал разговор в публике двух преданных партийцев. Один из них был до предела возмущен кощунственными речами Ландау и требовал расправы, а второй уговаривал его, что "от Ландау государству столько пользы, что партия считает возможным позволить ему говорить, что он хочет."

Я в свою очередь спросил Теллера, откуда у него в его молодые годы взялось столько проницательности, чтобы уже в двадцатые, в атмосфере левого энтузиазма в Западной Европе, ясно увидеть, куда идет дело?

Впрочем, и в 40-х, во время войны с Германией, Теллер был достаточно проницателен, чтобы горячо поддержать проект атомной бомбы. А в 50-х, и тем более в 70-х, он не испугался даже прослыть поджигателем войны и махровым мракобесом, настаивая, что коммунизм - это всего лишь разновидность фашизма, и все, кому дорога свобода, должны строить защиту от

него.

Как ни странно, в научном сообществе он был почти одинок. Его пессимистическая позиция не вызывала сочувствия прекраснодушных интеллигентов, а его чересчур прямая, эксцентричная манера (кстати, напомнившая мне манеру Ландау) отпугивала людей, привыкших к принятым на западе обтекаемым формам выражения. Те самые западные ученые, которые не знали как ярче выразить свое восхищение мужественной позицией профессора Сахарова, с трудом сохраняли простую вежливость в отношении профессора Теллера, сделавшего то же (и, по самому существу, провозглашавшего) те же самые идеи.

Теллер смолоду был уверен, что идея планируемого общества, которая восторжествовала в России, вообще ничем иным, кроме безграничной тирании не может обернуться, и потому советскому руководству заведомо нельзя доверять, что бы оно ни провозглашало. Он принял участие в работе над атомной, а потом и водородной бомбой, считая, что от нацизма, равно как и от коммунизма, следует ожидать смертельной опасности демократическому образу жизни.

Я не думаю, что он исходил из какой бы то ни было социальной теории. Просто его представления о человеческой природе и обществе, не будучи заслонены схематическими моделями, оказались гораздо более реалистическими, чем у слишком интеллектуальных сверстников и коллег, падких на всеобъемлющие теории и глобальные проекты.

Но как физики, они оба, и Сахаров и Теллер, работали над одной из самых важных для будущего человечества проблем: создание источника энергии, не зависящего от органических запасов Земли. Политики и журналисты всего мира видят здесь одну только бомбу, которая заслоняет им весь горизонт, но если человечеству суждена долгая жизнь, эта проблема вскоре станет проблемой номер один.

Мы разговорились, и я опять спросил Теллера, почему все-таки он смолоду, когда людям столь естественно питать иллюзии, был уже скептически настроен по отношению к человеческой природе, и ее склонности к добру. Он ответил, что в 1919 году, во время Советской революции в Венгрии, попутчики выбросили его на полном ходу из поезда, заподозрив в нем еврея. Они оказались правы. Он выжил. И, хотя он с тех пор хромает (ему тогда было 17), он благодарен судьбе за этот жестокий урок практического человековедения.

Конечно, это не объяснение. Почему одни люди (большинство) поддаются иллюзиям и коллективным психозам, несмотря даже на выдающийся интеллект, а другие - нет, не знает

никто. И никто не может защитить этих редких провидцев от общественного осуждения. Никто не вспомнит о них и после того, как это массовое очарование иллюзией испарится...

В ответ на мои извинения по поводу бедности моего английского, Теллер, в свою очередь, пожаловался, что и он тоже без напряжения поболтать может только по-венгерски и - вот уже тридцать лет - вынужден смиряться с неадекватностью своих речевых возможностей... Но он рад, что мы оба в силах понять друг друга и на нашем ломаном английском, так что, если я буду в США, он с удовольствием опять со мной встретится.

Спустя полгода мы с женой были в Лос-Анжелесе. Так как местная еврейская община приложила большие усилия для нашего освобожде-ния из СССР, ее руководство ликовало, видя нас у себя живыми и невредимыми, и устроило множество официальных встреч, которые совсем не оставили нам личного времени. Один из приемов в нашу честь носил более частный характер, и я спросил, могу ли я позвать на прием своего коллегу-физика. Разумеется, отказа не было, и я позвонил Теллеру. Он откликнулся с энтузиазмом.

Однако мои хозяева, увидев его имя, как ни странно, ответного энтузиазма не проявили. И я подумал, что все же демократическое общество слишком уж буквально понимает идею равенства, если участие такой выдающейся личности в званом вечере их не радует.

Мне это по контрасту напомнило смешной эпизод из моей совсем недавней московской жизни. Другой выдающийся физик, академик Михаил Александрович Леонтович, изъявил желание посетить мою лабораторию. Мой Институт Физико-Технических и Радио Измерений был закрытым заведением, и без специального разрешения войти туда было невозможно. Я пошел в отдел кадров и заказал пропуск для Леонтовича, не подозревая, какую бурю это вызовет к жизни. Наш институт на самом деле был заштатный, вовсе не академический, так что знаменитые академики заглядывали туда не часто.

Поэтому, когда встретив Леонтовича в проходной, я повел его через двор в лабораторию, навстречу выбежал дворник со шлангом в руке и заорал: "Убирайтесь с дороги! Нечего тут шляться в рабочее время! велено срочно мыть дорогу!" И не дожидаясь, пока мы отпрыгнем в сторону, обдал нас обоих водопадом брызг.

"А что за срочность?" - спросил я.

"К нам академик важный из Москвы приезжает, а вы тут под ногами путаетесь!"

Дворник, конечно, не знал, что значит, академик Леонтович, но он хорошо знал, что значит приказ директора.

Мы в лаборатории потом так увлеклись обсуждением новых задач, возникавших в ходе моих экспериментов, что не заметили, как бежит время. Пару раз в дверях появлялось искаженное заботой лицо директора института, но мы от него отмахивались, не вслушиваясь. На третий раз он не дал от себя отмахнуться и ворвался в кабинет с упреком:

"Александр Владимирович! Намерены вы нашего гостя обедом кормить или нет?"

"Конечно, намерен, - ответил я, глянув на часы. Действительно, уже перевалило за два часа пополудни. - Сейчас мы договорим и пойдем в столовую".

Директор, успокоенный, убежал, а мы с Леонтовичем, не прерывая разговора, отправились в институтскую столовую, закрывающуюся в пол-третьего. Конечно, все приличные блюда были уже съедены и оставался только фасолевый суп. Под воркотню кассирши, что "приходят тут всякие перед самым закрытием", мы схватили две тарелки супа и сели к заляпанному пластиковому столу. Не успели мы поднести ложки ко рту, как растворилась какая-то незаметная дверь в дальнем углу, и из нее выскочил белый от ярости директор - губы его дрожали, щека дергалась: "Хотел бы я знать, Александр Владимирович, что вы тут делаете?"

"Как что? Суп едим".

"Почему суп?" - взвыл директор.

"Потому что больше ничего не осталось!"

Директор приблизил свое искаженное лицо к моему, искренне удивленному: "Вы это нарочно устроили, чтобы поиздеваться?"

Леонтович молча наблюдал сцену - он был не так наивен, как я, и ему, наверное, все уже стало ясно. Директор впопыхах схватил тарелку академика и бегом припустил к той таинственной двери, из которой появился. Мы последовали за ним и вошли в нарядный банкетный зал, о существовании которого я, проработавший в институте пятнадцать лет, понятия не имел. Стол был накрыт на троих, но за этим столом можно было накормить небольшой взвод. На крахмальной белой скатерти красиво поблескивали хрустальные фужеры и рюмочки для коньяка, меж разноцветных бутылок выстроились невиданные блюда: красная и черная икра, копченая колбаса и даже - невероятный для России тех лет в ноябре - салат из свежих огурцов. Я с удивлением уставился на всю эту благодать.

"Вы что, никогда здесь не были?" - перехватив мой взгляд,

спросил директор.

"Меня никогда сюда не звали", - ответил я, как-то сразу оценив многие, казавшиеся мне прежде таинственными, подводные течения нашей институтской политики.

Но тут, в Лос-Анжелесе, таинственным было все, - и неумеренное торжество вокруг моей персоны, и явное пренебрежение к присутствию выдающегося гостя, и очевидное отсутствие направляющей директорской воли.

Гости, адвокаты, финансовые воротилы, политики и зубные врачи громко радовались очередной победе "мирового общественного мнения", которое вывело меня на свободу, а в ближайшем будущем приведет нас и к "разрядке международной напряженности", близкой дружбе с Советским Союзом и мирной, но убедительной, победе мира и демократии во всем мире.

Тут диссидентская натура Теллера не выдержала этого общего торжества "вишфул тинкинг" (принятия желаемого за действительное), и он громко попросил меня сказать несколько правдивых слов о реальном положении в Советском Союзе и возможном будущем.

Мне, конечно, и в голову не пришло, что это может огорчить наивных (или выглядевших такими) американцев, и я откровенно рассказал им, что советская политика в самой своей основе включает введение западного мира в заблуждение и недопущение общественного контроля на всей своей территории, а непосильные первоочередные расходы на оружие оставляют простого советского человека лишенным основных жизненных благ. Россия одна из самых богатых природными ресурсами стран, но все ее богатства оказываются бесполезными для ее граждан. Производство оружия и конфронтация с Западом остается в СССР суперприоритетной задачей, обрекающей весь его народ на перманентную нищету. И это положение не может коренным образом измениться под влиянием демонстрации американского дружелюбия, потому что, чтобы сохранить народное единство и поддержку, власти регулярно создают у своего населения впечатление внешней угрозы. Искусственная информационная замкнутость России ни в коем случае не позволит ее гражданам узнать фактическое положение дел.

Мне уже приходилось много раз выступать в Америке. Еврейская аудитория с напряженным вниманием относилась к положению евреев в СССР и восторженно воспринимала мои рассказы о нашей героической борьбе за выезд. Мои публичные выступления неизменно пользовались успехом. Но это мое выступление было первым, которое не снискало аплодисментов.

Собравшиеся на этот вечер миллионеры решительно симпатизировали социальной справедливости и бесплатному зуболечению (среди гостей было особенно много богатых зубных врачей), а трудности евреев в СССР воспринимали как досадные пятна, которые, как известно, бывают и на солнце...

Теллер был, похоже, единственным, кому моя речь понравилась. Остальные, наверное, приписали мои, не совсем для них привычные, заявления несовершенству моего английского, и после недолгого замешательства продолжили непринужденно веселиться и декларировать свои мирные намерения.

Поздно вечером, выдающийся адвокат, который отвозил нас в нашу гостиницу, спросил меня, имея в виду Теллера: "Вы давно знакомы с этим типом?". Я ответил, что со студенческих лет, хотя, к сожалению, только по литературе. Ведь он один из классиков в моей профессии. Для меня было большой честью познакомиться лично и найти с ним общие интересы... "Вот, и напрасно, - отрезвил меня адвокат, - вы, наверное, не знаете, что это очень опасный человек, поджигатель войны. Он говорит, что в Советском Союзе нет никакой демократии, и что его правительство ведет постоянную скрытую войну против нас на всех континентах." Я ответил, что советское руководство, конечно, не делилось со мной своими скрытыми планами, но именно такое впечатление создается у всякого жителя СССР, который следит за мировыми событиями изнутри той страны.

Адвокат, как всякий гражданин демократического общества, привык подозревать в лицемерии только свое правительство ("развращенность которого ему хорошо известна") а всякое заявление врагов ("о которых все же, не зная в точности всех фактов, нельзя судить сплеча"), оценивать, как хотя бы отчасти, справедливое. Не убедив друг друга ни в чем, мы расстались друзьями. В Америке, как и всюду, люди просто не хотят знать правду.

Кстати, Михаил Александрович Леонтович рассказал мне, как однажды ему удалось настоящее политическое пророчество. В 1950-м он узнал, что А.Д.Сахаров успешно решил теоретическую задачу, и испытание водородной бомбы прошло успешно. "Сейчас начнется война!" - в ужасе воскликнул он (к счастью в достаточно узком кругу).

Через месяц началась война в Корее... Впрочем, тогда американцы перестали тормозить проект Теллера, который тоже решил эту теоретическую задачу, но был остановлен своей администрацией. В 1951-м испытание американской водородной бомбы тоже прошло успешно, равновесие страха было восстановлено, и корейская война тут же кончилась на тех же

рубежах, что и началась.

"Разрядка" тоже продолжалась недолго и вскоре сменилась новым витком "холодной войны", но репутация Теллера уже не улучшилась. Он так и остался в глазах широких кругов американской интеллигенции "поджигателем войны" и закоренелым "сторонником гонки вооружений".

Мне стало ясно, что на Западе иногда требуется гораздо больше мужества, чтобы поддержать правительственную политику, чем для того, чтобы против нее бороться.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА - ПРИЧИНА ИЛИ ПРЕДЛОГ ?

В связи с 40-летием Шестидневной войны в израильской печати вспомнили, что и наша алия из СССР началась примерно в то же время. Некоторых авторов такое совпадение даже соблазнило поставить эти события в отношения причины и следствия. Мое марксистское прошлое не мирится с таким явным нарушением соотношения "базиса" и "надстройки". Хочется напомнить русским евреям, что все-таки, каковы бы ни были внешние обстоятельства сионистской революции в их сознании, свершившейся 40 лет назад, основную причину ее стоило бы искать в себе и в условиях своей жизни, а не в мировых событиях, от которых советские граждане были достаточно надежно изолированы.

Конечно в том вихре влияний и чувств, который подхватил бывших советских евреев в конце 60-х и бросил их на колючую проволоку, отделявшую СССР от всего мира, легче всего всплывает на поверхность светлое воспоминание о празднике души - лихой победе Израиля над толпами врагов. Приятно и то, что израильский истеблишмент нашел лестным для себя совпадение сроков оживления сионистской активности в СССР с победоносной Шестидневной войной. Но решимость, которая предшествовала этому взрыву произошла не от израильских успехов. Причины событий, которые радикально меняют судьбы десятков тысяч людей следует искать в жизни самих этих людей. Для того чтобы сработал такой спусковой механизм, как многократно искаженный слух о сказочной победе за три моря каких-то евреев, нужно предположить предварительное существование хорошо взведенной пружины.

Я начну издалека.

В истории евреев часто повторяются одни и те же трагические ситуации. Учитывая длительность еврейской истории, повторения не удивительны. Удивительна сама длительность. В этих повторениях часто осуществлялся некий отбор. Выжившая популяция выделялась каким-нибудь своим специфическим свойством.

История русских (даже скорее советских) евреев в ее своеобразии ярко подчеркивает идею такого отбора. Октябрьская революция 1917 ввела в России дискриминационное законодательство, хотя и не направленное прямо против евреев,

но фактически лишившее гражданских прав (и зачастую средств к жизни) более трети именно еврейского народа, как нежелательного "мелкобуржуазного элемента".

Одновременно в ходе Гражданской войны была уничтожена (или изгнана) большая часть русского населения, выполнявшая наиболее сложные управленческие и технические функции в, и без того отсталом, недостаточно структурированном российском обществе. Открылось громадное поле вакансий для образованных людей. Масса молодежи из всех слоев населения от души подхватили ленинский лозунг: "учиться, учиться и учиться..."

Это вызвало лихорадочную активность по приобретению и освоению новых профессий и в поголовно грамотной еврейской среде, часто приводя молодых людей к разрыву и отчуждению от семьи. Порыв к "классовой перестройке" совпал с многолетней предшествовавшей тенденцией евреев к получению светского образования, которая уже и к началу XX века создала предпосылки превращения евреев из этнически-конфессиональной в социальную общность.

Модернизующееся советское общество с 20-ых почти по 60-ые годы было действительно супердинамичным. Непрерывно возводились новые промышленные объекты и основывались новые учреждения, нуждавшиеся в квалифицированных людях. Набор студентов в ВУЗ-ы возрастал экспоненциально в течение жизни двух поколений.

После 1917 г. в рекордный срок (две пятилетки) евреи сформировали в России практически весь корпус врачей, адвокатов и журналистов и начали завоевывать позиции в инженерных, военных, ученых и артистических профессиях. Перед началом Второй мировой войны почти половина еврейского народа уже исполняла разные жизненно важные технические роли в структуре растущего советского общества, катастрофически нуждавшегося в динамичном, грамотном элементе.

Энтузиазм молодежи по поводу доступности высшего образования зачастую заглушал не только жалобы старшего поколения на узаконеный государственный грабеж их частной собственности (экспроприации), но даже страх массовых репрессий. Стремительный социальный рост квалифицированного слоя в российском обществе, и особенно еврейского меньшинства, напоминал растущий снежный ком, которому не предвиделось ограничений.

Когда разразилась война, германская армия в России наступала так быстро, что избежать полного уничтожения смогла

только та часть евреев (около полумиллиона), которая была мобилизована в армию (около 200 000 из них погибли в боях), а также та, о которой советские власти преимущественно заботились (еще около милли-она) в связи с их нужностью для эффективного функционирования. Около половины всех советских евреев (по крайней мере полтора миллиона) были оставлены на произвол судьбы и погибли в Катастрофе. Это была как раз та половина, которую обычно зовут "простыми людьми", "почвой", еврейскими корнями - народная толща.

Те, что остались в живых, выжили благодаря их индивидуальным усилиям и неординарной успешности в своих областях. Это были скорее люди неукорененные, городские, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Практически никто из них не сосредоточивался на традиционной верности религии, культуре, языку. Потомки лишь этого, дважды "избранного", меньшинства составили советское еврейство в послевоенный период. Чтобы заразить таких людей сионистской мечтой, нужно было найти действительно серьезные аргументы в текущей действительности.

Уже в 60-ые годы по статистике каждый третий советский еврей имел высшее образование (это значит, если исключить детей, больше половины народа). При общем еврейском населении меньше 1% в стране, 5% лиц с высшим образованием и 10% всех научных работников в СССР оказались евреями. Грамотная русская речь, очки и шляпа превратились почти в такой же характерный признак еврея в глазах простого народа, как пейсы и лапсердак в предыдущем столетии. Такое превращение имело многообразные последствия.

К 60-м годам былая социальная динамика в СССР исчерпалась и темпы развития начали катастрофически замедляться. Я не ставлю себе задачи из области советологии. Поэтому я не собираюсь задаваться вопросом, правильной или неправильной была политика советских властей, и кто был в этом виноват. Я констатирую факт: к концу 60-х советское общество вступило в застойную фазу.

В частности, кривая приема студентов круто переменила тенденцию и достигла насыщения (это, кстати, произошло в 1967 г.!). На самом деле не только в получении образования, но и во всяком социальном продвижении резко выросли трудности для всех слоев общества, независимо от, никогда полностью не исчезавших, протекционизма и антисемитизма. Множество людей остро почувство-вали свою недовостребованность и трудности конкуренции. Снежный ком рассыпался и потек в разные стороны

для разных групп населения. Национальная дискриминация, конечно, добавила свою весомую каплю яда к бедам любой еврейской семьи.

Но в 60-х это была уже не прежняя традиционная еврейская семья, для которой высшее образование виделось как немыслимое благо и единственный путь к равенству. Теперь это, в среднем, была семья, в которой получение образования стало частью регулярного образа жизни и способом поддержания социального статуса. Народ инженеров и врачей не хотел превращаться обратно в народ парикмахеров и продавцов. Лишение доступа к образованию рассматривалось евреями, как катастрофическое нарушение их фундаментальных прав, преступление режима, разрушительная расистская политика деклассирования евреев. Так оно, собственно, и было, хотя это была проблема не только евреев.

В мире за это время произошла постиндустриальная революция. Постиндустриальная революция на Западе привела к некому повышению роли (и, соответственно, самоуважения) специалиста и в СССР. Ежедневно решая технологические задачи, ставившие в тупик неквалифицированное (несовременное) начальство, специалист одновременно убеждался в своем потенциальном могуществе и социальном унижении.

Для евреев эта ситуация была еще усугублена их фактическим неравенством. Находились начальники (и целые отрасли - Институт Научной Информации, Институт Высоких Температур, Институт Математической Экономики), которые сознательно пригревали у себя способных евреев, зная, что от них можно не ожидать карьерной конкуренции: продвижение по социальной лестнице или премирование для них всегда будет затруднено.

Множество разносторонне одаренных людей перестали связывать свои амбиции с официальными учреждениями и перешли на "подножный корм", "черный бизнес" и "самиздат". Хотя статус безработного не был предусмотрен советским мировоззрением, но неполная занятость на трудовом посту рассматривалась скорее как близкая к норме. Ничто не мешало людям обделывать свои делишки в рабочее время. Теневая экономика приобрела всеохватывающий характер. В стране появились неоприходованные официальными инстанциями большие деньги, манившие, не знавшего в прошлом таких искушений, рядового советского молодого человека.

Одновременно открылись всевозможные мистические, исторические, теософские, и просто самообразовательные кружки. Многие котельные и дворницкие в больших городах

превратились в престижные клубы молодых дарований.

Победа Израиля в Шестидневной войне, еще прежде, чем советские евреи успели ее осознать, повергла советские власти в настоящую панику. Эта победа обнажила порочность всей их политической стратегии. И власти окончательно потеряли голову. Вся их гигантская пропагандистская машина была брошена на приписание Израилю совершенно необыкновенной военной мощи, а сионизму в целом ведущей роли в мировой империалистической коалиции, якобы противопоставленной "лагерю мира и социализма".

Только этого и не хватало советскому интеллигенту, и, особенно еврею, чтобы почувствовать, наконец, тягу к сионизму. Книжонки, разоблачавшие сионистскую идеологию, стали бестселлерами, поскольку советский народ давно привык вычитывать свои сведения о внешнем мире между строк официальных "разоблачений". Для многих впервые открылось, что, собственно, израильтяне это не какие-то далекие туземцы, а те же самые евреи, которых мы знали с детства. Советские евреи почувствовали себя в фокусе мировых событий. На Западе их ожидал могучий, победоносный союзник - Израиль. И все несметные силы империализма были теперь на их стороне.

Одновременно все евреи в СССР автоматически были поставлены под подозрение. Более того, как выяснилось из речи одного из высокопоставленных партийных функционеров на закрытом собрании, немедленно разошедшейся по всей стране: "так называемые, половинки и четвертушки еще опаснее, чем просто евреи, потому что их сионизм не сразу бросается в глаза". Не все граждане сразу сумели по достоинству оценить это заявление, но общая обстановка в стране подошла вплотную к революционной ситуации: заметная часть населения, чей "сионизм бросался в глаза" была объявлена врагом общества и в то же время подозре-ние в сионизме не снижало, а заметно повышало общественное уважение к заподозренным.

Конечно шок Шестидневной войны подтолкнул власти к этому. Но причины были внутренние.

Отчаявшись остановить стремительно нарастающее самораскрепощение граждан, власти перешли к откровенно фашистским методам и поставили на антисемитизм. Застойное российское общество вступило в неизбежный конфликт со своим передовым, динамичным элементом и, как это уже бывало в истории, воспользовалось антисемитизмом как испытанным оружием.

Оружие это, однако, оказалось обоюдоострым. Чем больше

власти настаивали на нелояльности евреев в составе советской интеллигенции, тем большая часть лояльных интеллигентов начинала осознавать свое еврейство или ему симпатизировать. На интеллигентских пьянках весело зазвучал "оригинальный" тост: "В следующем году - в Иерусалиме!"

Не все евреи, конечно, принадлежали к интеллектуальной элите. Однако множество простых людей в еврейской среде в какой-то степени отождествляло свои амбиции с претензиями образованного круга и воспринимало дискриминацию интеллектуалов в ряду прочих незаслуженных обид еврейского народа.

Интеллигентная часть общества стала метаться между осторожной ("смелой") критикой "отдельных недостатков" и открытым протестом. Участие евреев в протестном движении стало подавляющим. В ответ власти всех скопом объявляли сионистами. Вопреки ожиданиям властей, многие люди (и даже не только евреи - вот, это наверное действительно был отблеск 6-дневной войны) легко приняли для себя этот термин.

Сионистское движение в России, собственно, никогда не прекращалось, но до конца 60-х это был непопулярный уровень подпольных кружков, без ясного будущего. После нескольких разрешений на отъезд в Израиль, выданных под давлением Западного общественного мнения (в основном, в Прибалтике) цель ясно обозначилась. С началом

70-х многие из этих кружков, изучавших иврит и ловивших израильское радио вместо BBC, стали восприниматься как закрытые престижные клубы. Их члены стали открыто заявлять о себе и агрессивно требовать легализации.

Начиная с этого момента советские евреи превратились в субъект истории и заслуживают отдельного изучения. Я хотел остановиться лишь на предистории, потому что слишком часто в израильской литературе (даже научной) встречается сбивающая с толку суперлегкомысленная формулировка: "Шестидневная война привела к глубоким изменениям в жизни евреев Советского Союза." ("Евр.Самизд.", издание Евр.Унив., Иерусалим, 1973-1978.)

К самым глубоким изменениям в жизни советских евреев привела их сама жизнь в Советском Союзе.

Я совсем не сторонник материалистического подхода к истории, но все же социальные взрывы и народные переселения, как мне кажется, следует рассматривать в свете реальных жизненных условий людей в их обществах прежде всего.

Вдохновляющие международные события и народные мечты впоследствии накладывают на эту реальность свою эстетическую печать.

Вот и основа нашего реализма - Библия - не ограничивается одной лишь мечтой о Земле Обетованной, а впереди Исхода вставляет рассказ о реальном положении дел: "Восстал в Египте новый царь... И сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его... И делали жизнь их горькою..." (Исход,1,8-14)

Мечта обозначает лишь направление движения. Русское еврейство, пройдя свой двухсотлетний путь в составе Российской империи и, переболев и мечтами о равенстве и социализме, и о либерально-просвещенном великодержавии, выбрало свой путь в Израиль не случайно.

Последствия этого выбора отразятся на всей политике, экономике и культуре Израиля, как бы скептически ни относились к этому сторонники теории "плавильного котла". Чтобы переварить эту огромную культурную силу Израилю придется в какой-то степени "обрусеть".

"МЫ" И "ОНИ"

(Феноменологические заметки)

На фоне всеобщей глобализации в мире происходит не менее отчетливый рост партикуляризма. Российские евреи как отдельная этническая единица в Израиле возникли в ходе революционного взрыва в России, почти на 20 лет опередившего "Перестройку". Взрыву этому предшествовала драматическая предистория, которая в достаточной степени способствует коллективной идентификации группы и высокому уровню ее самоуважения. Базисная мифология русских евреев определяет их не столько как потомков еврейского населения бывшей Черты оседлости Российской империи, сколько как "избранный", передовой народ, по своим культурным навыкам далеко превосходивший своих соседей. Социальный состав и род занятий российского еврейства в последние 70 лет склоняли его к техницизму и западной ориентации. Эта западническая культура русских евреев осуществляла определенный выбор внутри общей русской культуры и предопределяла их постоянную оппозицию внутри российского общества. Некоторые черты этого выбора ясно прослеживаются при анализе текстов Михаила Булгакова и А. и Б. Стругацких - излюбленных писателей (и невольных идеологов) бывших российских евреев. Эта же культура делает русских евреев в Израиле сторонниками технократии и реального образования.

Энергия революционного взрыва, сопровождавшая процесс этнообразования и исхода из России, задала многие характерные черты будущего политического поведения русских евреев. По составу и социальным устремлениям, определяющим мотивы действий, эта группа составляет резерв сторонников модернизации в израильском обществе. Но по своему радикализму и энергии она имеет потенцию вырваться в авангард. Унаследованные от жизни в России специфические культурные стереотипы, сохраняемые в языке общения и семейных традициях, способствуют этой тенденции. (Написано для Университетского сборника 2003 г.)

Прежде чем обсуждать настроение и амбиции русской общины в Израиле, имеет смысл привести взгляд известного

американского антрополога и философа Клиффорда Гирца на современную ситуацию в остальном мире:

"Сосуществование во многих странах различных, укорененных в истории, традиций наряду с бесконечной прогрессией различий, делений внутри делений, конфликтов внутри конфликтов, вызывает вопрос, который невозможно больше игнорировать: каким образом в столь многомерном мире продолжают сохраняться политические, социальные и культурные самоидентификации?.. Если идентификация без взаимного согласия фактически не исключение, а правило повсюду, в Индии и США, в Бельгии и Гвиане, на чем она держится? Термин национализм (или этноцентризм) в наше время ничего не определяет. Когда на вопрос - кто ты такой? - человек может ответить: израильтянин, мусульманин, зулус, араб, австралиец, баварец, европеец, негр, цыган, или маронит - невозможно предложить теорию, которая разумным образом объединит все эти понятия... Фактически наш мир состоит скорее из по-разному стиснутых и взаимопроникающих несовместимостей, чем из однородных единиц, которые можно было бы назвать нациями (или народами)... Если мы, философы, этнографы, историки, хотим сказать хоть что-нибудь осмысленное об этом разрозненном мире неустанно воспроизводящихся идентификаций и нетвердо определенных связей, нам следует сделать много поправок к нашему образу мыслей. И первым делом мы должны открыто и откровенно признать реальность разделений без пустого морализирования и банальностей о нашей общей природе..."

(Клиффорд Гирц, "Доступный свет", Принстон Унив.Пресс, 2000.)

Одним словом, и в головах специалистов здесь тоже сплошь темный лес и мы можем беспрепятственно резвиться на своей лужайке.

Ура-идеология

Были времена в Израиле, когда всех мужчин до 54-х лет раз (а то и два) в году гоняли на военную, резервную службу ("милуим"), так что наш сионистский энтузиазм подвергался жестокому испытанию. Однажды, в ходе моей резервной службы

сержант объяснял мне, как надо атаковать огневую точку на холме: "Беги зигзагом, стреляй без перерыва, бросай гранаты и кричи громче." Будучи совсем недавно из СССР, я был ориентирован на идеологию и спросил его, что надо кричать. "Неважно, что кричать - главное, ори во весь голос" - ответил деидеологизированный израильтянин.

Наверное, не только ему было все равно, что кричать. Разве слово "ура!" по-русски что-нибудь означает? Мне рассказывали о 15-летнем парне - добровольце из России, у которого в драматические моменты войны за независимость Израиля, вырывалось только: "За Родину, за Сталина!" Конечно, это означало не более, чем "ура!". Хотя вряд ли он согласился бы кричать: "Дойчланд юбер аллес!"

Громадное большинство людей никогда не нуждалось в идеологии, чтобы продолжать свое существование. Однако, у них была религия. И для нормальной человеческой нужды в упорядоченности жизни (хорошие и плохие поступки, "свои" и чужие люди, рабочие и праздничные дни, свадебные и похоронные обряды) целые тысячелетия этого, как будто, было достаточно. Если в бою они и кричали "С нами Бог!", это означало не больше, чем "ура!". К тому же и противник обычно кричал то же самое.

Непрерывность жизни поддерживается нормой, но импульс развития ей придают ненормальности, отклонения. В пору всеобщего господства религий это были секты, толки, ереси. Тогда-то возник и новый лозунг "За свободу!", который уже отличал идейных бойцов от их противников. После серии европейских революций идейными бойцами стали все, и с отступлением религий, место вдохновляющих ересей заняли идеологии - нерелигиозные по форме системы мысли, задающие человеку общий подход ко всем явлениям жизни.

Как без религии отличить, что хорошо, а что плохо? Достоевский, например, считал, что это вообще невозможно. ("Если Бога нет, то все позволено!".) Марксистско-ленинская идеология, однако, давала нам исчерпывающую, хотя и чересчур простую, формулу: "хорошо все, что полезно для дела пролетариата". Многих это убеждало. А в чем состояло дело пролетариата? - Тут начинался туман, и меньше всех был способен ответить на этот вопрос сам пролетариат.

Не многим лучше обстояло дело и в сионизме. Когда после трех лет сионистской борьбы я прибыл в Израиль, со мной разговорился по душам уполномоченный правительства и спросил, почему, все-таки, я выбрал Израиль. Я не нашелся, что

сказать, кроме того, что, мол, Израиль еврейское государство, и, поскольку я как раз еврей... Он засмеялся: "Вот, и неправда! Вы совсем не по-еврейски поступили. Настоящие евреи бегут в Нью-Йорк..." Потом он, правда, добавил: "Впрочем, я пошутил." - Но во всякой шутке...

Хотя идеологии по форме не религиозны, в содержательной основе любой из них лежит произвольное, на веру принятое допущение - что дело пролетариата, допустим, стоит усилий или, что евреям действительно нужно государство.

Религии все-таки при этом опираются на авторитет и опыт тысячелетий. Человек уже рождается в той или иной вере, и ему не всегда приходит в голову проверять убедительность ее догматики. Идеологии же основаны на убеждениях, сложившихся в умах немногих оригиналов и сравнительно недавно. Знакомясь с новой идеей, человек обнаруживает себя перед ответственным личным выбором при острой нехватке данных. Никакая общая система мысли не может быть подвергнута опытной проверке. Сомнения и разочарования неизбежны. Идеология - не наука. Распространенность ее ничего не доказывает. Ее крушение ничего не опровергает.

Привлекательность и ценность первоначально принятого допущения (стоит ли пролетариат того, чтобы за него бороться, или еврейство, чтобы его сохранять) определяются на вкус, на глаз. Был ли сделан выбор по внутреннему влечению (в наше время это зовется экзистенциализмом) или заодно с окружающими (куда все, туда и я!) - он остается актом веры.

В X1X в. в моде были наукообразные теории развития общества. Идеологии тогда маскировались под науку. В результате, спустя полвека, когда мы стали свидетелями грандиозных судорог народов, классовая или расовая "теории" для многих служили оправданием их варварства. Это даже не значит, что в самих теориях не было смысла. Любая идеология подхватывает какие-то частные черты реальности и всегда имеет соприкосновение с природой вещей. У разума есть много путей упрощения реальности. Но нет разумного пути охватить действительность в ее целом. [1)]

1)***Карл Поппер, впрочем, еще в 30-ых г.г. в своей критике историцизма назвал все эти "теории" гипотезами и одним этим словом снизил статус всеохватывающих идей до правильного уровня догадок ("Честь безумцу, который навеет...").***

В конце XX-го века стало модно отрицать свою зависимость

от идеологий, и потому мысль большинства людей попала в плен случайных впечатлений: поветрий в масс-медиа, обаяния кинозвезд и теледикторов, кратких словесных формул ("мейк лав, нот вор!") и местных колдунов. В науке, литературе и политике это зовется теперь постмодернизмом. Как выразил это уже цитированный Клиффорд Гирц: "Навязший в зубах постмодернизм подсказывает, что всякий разумный подход вообще должен быть отброшен как реликт поисков "сущего", абсолютного, вечного. Никаких общих заключений о культуре, традиции, идентификации или еще о чем-либо не должно быть. Есть только не укладывающиеся в общие схемы лица и события. Нас убеждают примириться с серией описаний, не связанных никакой последовательностью."

Но тогда не следовало бы ожидать никакой последовательности и в людском поведении. Между тем, повсюду (и особенно в странах, где постмодернизм, как интеллектуальное течение, наиболее распространен) от современного человека настойчиво требуется неуклонная последовательность (даже упорядоченность) поведения, включающая следование законам, общепринятым нормам и просто предрассудкам окружающих. Чем меньше последовательности обнаруживается в истории, идеологии и культуре "цивилизованных" стран, тем больше ее взваливается на плечи "цивилизованного" гражданина, который должен быть теперь прямо фантастически дальновидным и сдержанным ("политикалли коррект"), чтобы заслужить одобрение общества.

На самом деле человек не может обойтись без идеологии - т.е. организации его опыта в некой обобщающей (упрощающей) системе взглядов. Если не ожидать от нее слишком многого ("марксистская теория всесильна, потому что она верна...") всякую более или менее когерентную культурную схему можно назвать идеологией.

Но можно также и теологией [2]) , а в применении к массам, - и мифологией. Сто лет назад, чтобы стать марксистом, считалось необходимым изучать "Капитал", а сегодня любую "идеологию" можно подхватить из газетных заголовков. Это - совсем недалеко от громкого "ура!".

2) ***По определению Бертрана Рассела: "Все догмы, коль скоро они превышают точное знание, принадлежат теологии."***

Тонкое филологическое различие между авторитетными идеологиями и популярными мифами, может, и заметно некоторым интеллектуалам, но совершенно неуловимо для большинства приверженцев. Демократический мир строится на

мифах, которые овладевают массовым сознанием, и грозит обрушиться всякий раз, как влияние этих мифов ослабевает.

Для интеллигента дело не в том, чтобы пытаться (хотя бы перед самим собой) выдать эти мифы за точное знание, а в настоятельной потребности прочувствовать, какой из них в самом деле соприроден его душе и не мельтешить. Понимание мифологической природы своих посылок не должно приводить культурного человека к потере ориентации, а скорее к строго повышенному вниманию к основаниям своей культуры. Такое внимание, повидимому, только и ведет к осмысленному культурному творчеству. Оно дается не всякому. Целый спектр сосуществующих, (и часто несовместимых) мифологий незримо владеет сознанием людей, уверенных в своей освобожденности от всяких предвзятых идей. Это особенно верно в периоды кризисов и катастроф.

"Собачье сердце"

Об идеологии людей, которые отрицают свою зависимость от идеологии, лучше всего судить по текстам - историям, книгам или фильмам - которые среди них популярны. Как пишет другой современный исследователь культуры: "Общепринято рассматривать искусство изложения ("нарратив") - песни, драму, роман - скорее как украшение жизни, чем как необходимость... Однако, мы сознаем нашу культурную принадлежность и наиболее ценимые верования именно в форме описания, причем часто захватывает нас не столько фабула, "содержание" рассказа, сколько искусство повествования... Рассказ о себе и о других - себе и другим - есть наиболее ранний и естественный способ организации нашего опыта... Люди приписывают миру смысл рассказом о нем. Они используют свою описательную способность для моделирования реальности... Мифы, сказки, истории суть инструменты мышления для конструирования значений.."

(Джером Брунер,"Культура воспитания", Гарвард Унив.Пресс,1996)

Культурный разрыв между европеизированным меньшинством и остальным народом в течение веков был камнем преткновения в российской национальной жизни и служил источником неутолимого комплекса вины русской интеллигенции.

В едкой, фантастической повести "Собачье сердце" [3]) Михаил Булгаков с блеском продемонстрировал, как далеко ушел от этих былых самоуничижительных комплексов русский интеллигент вскоре после Революции, уже в 20-ые годы:

- Гениальный ученый, хирург, проф. Преображенский, ради эксперимента превращает голодного бродячего пса в человека. Из милого, ласкового пса, Шарика, в результате научно продуманной (вот она - идеология!) операции вышел хамоватый и смертельно опасный "новый гражданин", тов. Шариков, который неожиданно скоро оказался гораздо лучше приспособлен к условиям массового общества ("диктатуре пролетариата") чем сам ученый, наивно на людях провозглашавший: "Да, я не люблю пролетариата!"

3) ***Вообще, похоже, что при Советской власти писателям удавалось откровенно высказаться только в фантастической форме - Е.Замятин, Б.Пильняк, А.Платонов и другие (См. статью Абрама Тэрца - Синявского - "Социалистический реализм").***

От мести распоясавшихся гегемонов - соприродных Шарикову по духу людей - профессора, впрочем, спасают его собственные темные связи с власть имущими (т.е. по существу такими же Шариковыми). В этом пункте писательский дар Булгакова (а, может, и собственный жизненный опыт) позволил ему предвидеть двусмысленные

взаимоотношения интеллектуальной элиты с Советской властью на пятьдесят лет вперед.

После некоторых моральных колебаний профессор все же решается насильственно вернуть своего проблематичного питомца обратно в собачье состояние: "Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, ... упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел: - К берегам свяще-е-енным Нила..."

Возвращенный в естественное состояние пес увидел творческого человека за работой и природная иерархия, нарушенная было незаслуженным обретением им человеческих прав, восстановилась...

Такая аллегория, конечно, ничего не доказывает и никак не подвигает к решению реальную социальную проблему. Но талантливый текст обладает большой суггестивной силой, и повесть, широко разошедшаяся по стране только в 60-х в САМИЗДАТе, имела шумный успех. Она, конечно, сыграла свою незамеченную роль в формировании того поразительного отчуждения [4]), которое стало столь обычным в интеллигентских

кругах в России и позволило им так легко принять исход евреев в 70-х и последующее повальное бегство специалистов в 80-90-х.

4) ***"В глазах Булгакова только интеллигент и имеет право называться человеком." (Б. Сарнов, "Пришествие капитана Лебядкина", изд. Пик, РИК "Культура", Москва, 1993).***

В отличие от интеллигенции дореволюционного времени, которая включала весь образованный (т.е. состоятельный) слой российского общества, новая советская популяция состояла только из наемных (недооплачиваемых) профессионалов, "технарей", "образованцев", миллионы которых создала Советская империя для своих невероятно разросшихся нужд, совершенно не предусмотрев адекватного

удовлетворения нужд этой группы. Новая интеллигенция не имела никаких оснований брать на свой счет былые дворянские самообвинения. И через два поколения после революции этот новый класс легко принял профессионально-кастовую гордыню Булгакова, как свою.

Постиндустриальная революция на Западе привела к некому повышению роли (и, соответственно, самоуважения) специалиста и в СССР. Ежедневно решая технологические задачи, ставившие в тупик неквалифицированное (несовременное) начальство, специалист одновременно убеждался в своем потенциальном могуществе и социальном унижении. Самосознание этой группы никогда не было выражено в связной форме из-за очевидных цензурных ограничений, но неоднократно прорывалось в частных выступлениях и публичных призывах к необходимости способствовать "развитию талантов".

Для евреев эта ситуация была еще усугублена их фактическим неравенством. Находились начальники (и целые отрасли - Институт Научной Информации, Институт Высоких Температур, Институт Математической Экономики), которые сознательно пригревали у себя способных евреев, зная, что от них можно не ожидать карьерной конкуренции: продвижение по социальной лестнице или премирование для них всегда будет затруднено.

Не все евреи, конечно, принадлежали к интеллектуальной элите. Однако, множество простых людей в их среде в какой-то степени отождествляло свои амбиции с претензиями образованного круга и воспринимало дискриминацию интеллектуалов в ряду прочих обид еврейского народа.

"Малый народ"

Будучи по преимуществу квалифицированным меньшинством в обществе, советские евреи за два-три поколения сформировались не столько как этническая, сколько, как социальная группа.

Антиинтеллигентская политика властей в СССР так часто являлась в форме антисемитизма, что многие евреи (впрочем, может быть, и некоторые неевреи) невольно привыкли смешивать две эти разные группы. [5])

5) ***И два соответствующих понятия из разных рядов, так что на вопрос специалиста-антрополога, приведенный в начале статьи, один ответил бы - "я еврей", а другой - "я физик". Поскольку реакция Советской власти на оба ответа лучше всего характеризуется репликой из абсурдной пьесы Даниила Хармса - "Ты - говно!" - всегда наличествовала основа для их солидарности.***

Когда в 60-х по капризу Хрущева в высших учебных заведениях были введены льготы для выходцев из рабочего класса (и соответственно усилена жесткость по отношению к интеллигенции), обе стороны - и потерпевшие, и исполнители - были уверены, что эта мера направлена против абитуриентов-евреев.

В России вышел недавно современный, более объективный учебник новейшей истории (наконец-то, свободный от дела пролетариата), написанный саратовским профессором Кредером - поволжским немцем. Немедленно обрушилась на него лавина телефонных звонков и писем с угрозами и предложениями убираться в Израиль. И учебник, конечно, не стал общепринятым в российской школе.

Тут дело не только в фамилии Кредер. Объективность ведь тоже форма идеологии. Она основана на распространенной в европейских кругах вере, что истина (вещь в себе) существует независимо от наших (ну, скажем, классовых или национальных) интересов. Эта древняя идея, вообще говоря, тоже недоказуема и далеко еще не всюду прижилась, хотя автомобили, самолеты, холодильники и правоохранительные системы основаны именно на ней. Евреи в России, действительно, часто ценят объективный подход больше других. Может быть, это происходит потому, что он дает им субъективное ощущение безопасности в их особом положении и возможность ссылаться на "мировое общественное мнение", на "цивилизованные страны", на "Европу".

Социологи знают, что в переходные, кризисные периоды в обществе спонтанно возникают замкнутые группы с резко

отличным стереотипом поведения ("малый народ"), оказывающимся в вольной или невольной оппозиции к общепринятым ценностям и существующему порядку вещей. Члены таких групп перестают чувствовать свое родство с окружающими и становятся диссидентами - чужими среди своих. Так появились в свое время христиане в Римской империи, мусульмане в Мекке, протестанты в Европе, буддисты в Индии, большевики в России, сионисты в Черте оседлости...

Диссиденты в СССР появились задолго до того, как прижилось само слово. Один из бывших диссидентов, академик И. Шафаревич, правильно заметил, что евреи в России почти автоматически попадают в эту рубрику - "малый народ". Мудрено было бы им в нее не попасть. Он, однако, не захотел бы заметить, что и проф. Кредер со своей объективностью, да и он сам со своим православием, попадали в нее с такой же неизбежностью. В кризисном обществе, каким была обширная Советская империя, хватало места не для одного "малого народа".

Здесь кажется весьма уместной также и идея Льва Гумилева о консорциях - сплоченных группах пассионариев. Такая группа диссидентов, утверждающая новый стиль поведения в обществе, превращается порой и в зародыш нового этноса 6) :

"Формирование нового этноса зачинается непреоборимым внутренним стремлением к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной, представляется самому субъекту ценнее даже собственной жизни... Начав действовать, такие люди вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, буддийской общиной монахов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, школой импрессионистов...

Чтобы войти в новый этнос в момент становления, человеку нужно деклассироваться по отношению к старому."

6) ***Л.Н.Гумилев, "Этногенез и биосфера Земли", 1979. Лев Гумилев замечательно формулирует свои феноменологические наблюдения. Приводя цитаты из его трудов, я вовсе не собираюсь солидаризоваться с остальным содержанием его теорий.***

Окончательно "деклассированными" по отношению к советскому народу евреи оказались только в 60-х годах.

Взаимоотношения квалифицированного меньшинства и

народной массы далеки от простоты во всех странах. Тому, кто строит себе иллюзии относительно цивилизованных наций, следует посмотреть по телевизору на английских футбольных болельщиков. Арнольд Тойнби так выразился по этому поводу : "Западным науке и технике, рожденным, чтобы превращать знание в силу и богатство, присуща известная эзотеричность. Они возникли как результат напряженных интеллектуальных усилий творческого меньшинства. Главный источник нестабильности, угрожающей существованию этой "соли Земли" заключается, как раз, в том, что большинство людей, увы, попрежнему "пресно"... Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, в который упирается Западная цивилизация... В каждой цивилизации огромные массы народа не выходят из состояния духовной спячки, так как подавляющее большинство ... индивидуально ничем не отличается от человека примитивного общества".

В старой России такая идея вошла бы в противоречие с традиционным интеллигентским народолюбием. Но в СССР "человек примитивного общества" оказался вдобавок вооружен "самым передовым мировоззрением", которым он размахивал как каменным топором. Эзотеричностью науки Тойнби называет необходимость использования в ней понятий далеко выходящих за пределы житейского опыта среднего человека. На советском языке это значит - вне контроля партийной идеологии. Эта эзотеричность - "идеалистические извращения в физике, химии, биологии и языкознании" - в течение всего периода существования СССР была неизменным поводом для раздражения властей и, одновременно, единственным - хотя и очень непрочным - убежищем для социально ущемленных элементов населения, в конечном счете, диссидентов.

В течение многих лет в СССР диссидентство, в тюрьме и на воле, было тем единственным привилегированным кругом, куда легко принимали евреев. И хотя власть поставила свои барьеры и на пути в науку, ее эзотеричность 7) часто служила формой социальной защищенности для многих и разнообразных маргиналов.

7) ***"Интеллигенция, живущая в условиях девальвации общих понятий и высоких слов, ... видела в науке вообще и прежде всего в ее новых "авангардистских" жанрах (кибернетика, информатика, семиотика, генетика, бионика), объявленных еще недавно вне закона, естественного противника "идеологии"... Наука - воплощение бескомпромиссной истины, наука - антипод идеологии,***

превратилась в объект поклонения и символ веры..." М.Каганская, "Страна и Мир", Т. 11, 1986.

Интеллектуализм – по-видимому, было тем немногим из еврейского наследия, что еще осталось невыкорчеванным за десятилетия советской власти. При окончании мною университета только две категории наших студентов были на любых условиях готовы к трудной карьере профессионального ученого - евреи и лица с подмоченной анкетой: дети священнослужителей и репрессированных, побывавшие в немецком плену, на оккупированных территориях, и т.п.

По-видимому, большинство народа повсюду живет по инерции, не выходя за пределы рутины. Однако, во всех странах присутствует и пассионарное меньшинство, которому действительно необходимо ощущать вдохновение, особый подъем, чтобы совершать те ежедневные сверхусилия, которые только и обеспечивают существование и развитие цивилизаций. Такое же пассионарное меньшинство необходимо и для всякого социального творчества, т.е. реформ, и только такое же меньшинство способно на сверхусилия, требуемые серьезным историческим действием, революцией или массовым переселением. Вдохновение активных меньшинств в наше время, как и тысячи лет назад, питается мифообразующими идеями.

"Понедельник начинается в субботу..."

Советская интеллигенции породила и своих собственных певцов. Идеология избранного, облеченного знанием, меньшинства в чуждом культурном окружении с наибольшим блеском была выражена в творчестве А. и Б.Стругацких. Она, конечно, никогда не была записана в виде связного трактата, но довольно прозрачно

выражена в серии фантастических романов и повестей из мнимой истории фантастических стран.

Занимательность и остроумие этих книг обеспечили им очень широкую известность и замаскировали идеологический характер развитой мифологии [8)]. Основная идеологема Стругацких - существование непреодолимого разрыва между творческим духом (и историческим сознанием) интеллигенции и косным бытием огромного большинства народа - психологически (а, может быть, и фактически?) соответствовал российской

ситуации 60-х годов.

8) ***"Читателей привлекала их вполне недвусмысленная оппозиционность режиму. … Чтение Стругацких стимулировало интеллектуальные ереси и бунты."***

(Марк Амусин "Братья Стругацкие", Иерусалим 1996).

Трудно (да и ни к чему) в общем виде формулировать, чем отличались российские ассимилированные евреи от этнических русских, но зато очень легко сказать, чем и те, и другие интеллигентские семьи в России отличались от всех остальных.

В современных интеллигентских (и, особенно, еврейских) семьях ребенок в той или иной степени оказывается центром внимания всей семьи и с младых ногтей привыкает подавать свой голос. В нем, еще до включения общеобязательного оболванивания формируются зачатки того персоналистского мировоззрения, которые мешают ему впоследствии окончательно слиться с коллективом. Этот, отчасти воспитанный, нон-конформизм, а не просто высшее образование, собственно, и делает их интеллигентами.

Герои Стругацких, однако, больше чем просто балованные дети. Они еще и генетически одаренные пассионарии, которые ощущают в себе лишь одну (но пламенную) страсть - к познанию, к интеллектуальной игре. Несколько дней, проведенных без книг (новой информации) делает их больными ("Гадкие лебеди").

Напротив, все остальные люди, по-видимому, склонны удовлетвориться перевариванием пищи ("Второе нашествие марсиан"), примитивными развлечениями или наркотиками ("Хищные вещи века").

Страсть этих избранных к творческой работе индивидуумов соединенная с бесстрастным (якобы бесстрастным, потому что он включает много страсти) рациональным анализом, позволяет им творить технологические чудеса и возвышаться над повседневным окружением: "Они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому... Они были магами потому, что очень много знали. ... Они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного ..." ("Понедельник начинается в субботу").

Она, эта страсть, единственная, наполняет жизнь содержанием и, может быть, только она удерживает мир от глобальной катастрофы. Она превращает своих пассионариев в небожителей в прямом ("Волны гасят ветер") и, еще больше, в переносном смысле ("Трудно быть Богом").

Несмотря на свои фантастические сюжеты, Стругацкие

очень точно передают типологию и атмосферу российских отраслевых институтов и "шарашек". Этика этой технологической элиты аналогична кальвинистской доктрине избранности в представлении Макса Вебера: специалист предопределен своей одаренностью (т.е. свыше) к высокой миссии, а его профессиональные достижения доказывают и подтверждают его высокое назначение и одаренность. Он должен напряженно работать, чтобы доказать себе и другим, что он действительно принадлежит к тому самому редкому меньшинству, которое только и способно работать напряженно. Такой ход мыслей приводит, если не к успеху, то к внутреннему удовлетворению. Он также создает условия для жесткой (пуританской) дисциплины рабочего поведения, составляющей яркий контраст ко всеобщей российской разболтанности.

Конечно, это мифология технократов. Она в прошлом сочеталась со снисходительным отношением к несовершенству человеческой природы, называемым в просторечии либерализмом, но в критической ситуации чревата взрывом насилия (как, собственно, и подсказывала повесть М. Булгакова и логика диссидентства).

В "Трудно быть Богом" сгоряча, а во "Втором нашествии марсиан","Обитаемом острове" и "Хищных вещах века" уже обдуманно, интеллектуалы берут в руки оружие.

Хотя этот избранный народ порой испытывает унижения от невежественных варваров, господствующих в сказочно-абсурдном, но узнаваемо российском мире ("Сказка о Тройке"), хотя их нон-конформизм, неспособность проникнуться массовыми психозами превращает его членов в гонимую, угнетенную касту, (диссидентов - "мокрецов" - "выродков" - "интелей"), в конечном счете их незаметная, чудотворная работа сотворит новое небо и новую землю ("Гадкие лебеди"). Мистические Силы природы (если они есть) также признают паритет творческих личностей и считаются с результатами их работы ("За миллиард лет до конца света").

Майя Каганская в своем эссе, посвященном двум повестям, "Жук в муравейнике" и "Волны гасят ветер", написанным в 80-х ("22", NN 44, 55), окончательно отстраняя все писательские недоговорки и неопределенности, дописывает: "Ситуация выглядит так, будто человечество распадается на два вида. ... Появилась группа людей, которые по своим физическим, психическим и интеллектуальным данным настолько же превосходят "гомо сапиенс", насколько современный человек превосходит неандертальца... Эти сверхлюди ... к человеку относятся так же, как взрослый - к ребенку... Даже жить они

предпочитают в Космосе... Открытый Космос и высшая стадия существования Разума, - единственное, что их интересует..."

После ряда остроумных выкладок она заключает: "Еврейская тема тотальна в обеих повестях... Речь идет о еврейской эмиграции."

Легко догадаться, что воображению писателей не столько евреи ("творческая интеллигенция", конечно) представляются сверхлюдьми, сколько термин "гомо сапиенс" звучит, пожалуй, слишком гордо в применении к массовому обществу, как оно им видится. Впрочем, более важными кажутся мне не полускрытые намерения авторов, а бурная реакция читателей, использовавших возможность такой интерпретации задолго до ее опубликования.

Подобно тому как преступные сообщества во всех странах вырабатывают свой слэнг, свою этику и эстетику, практикуют нетрадиционное словоупотребление, специфические слова и выражения ("феня", "арго"), советская интеллигенция, десятилетиями ощущавшая себя отчасти вне закона (а в лице многих своих выдающихся представителей и побывавшая в местах заключения), выработала свой эзотерический язык и кодекс поведения, по которому члены сообщества узнают друг друга. Официальная культура не дает внешнему наблюдателю никакого представления о фактической (подпольной) духовной жизни советского человека. Эту особенность советской ситуации Каганская характеризует таким образом: "В советской литературе тексты только на одну треть пишутся авторами, а на две - дописываются читателями. Здесь действует... техника кроссворда: составляют кроссворд писатели, заполняют - читатели." Конечно, Стругацкие - любимые писатели советской интеллигенции - писали на эзоповом интеллигентском языке того времени и в пределах эстетики того круга.

И в самом деле, что еще оставалось думать читателю-еврею после прочтения в 1968 году в СССР такого пассажа : "Все равно я уеду, - думал Перец ... - все равно я уеду... Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, ... не хочу я больше петь вам песни, считать вам на "мерседесе" (т.е. теперь это значит, на компьютере), разбирать ваши споры, ...читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду... Все равно вы никогда не поймете, что думать - это не развлечение, а обязанность..."

("Улитка на склоне").

Еврейская революция

Невозможно предугадать, во что бы вылился со временем рост числа диссидентов в СССР, если бы Шестидневная война неожиданно не переломила ситуацию и не ввела новое измерение.

Я не считаю, что Шестидневная война оказала прямое вдохновляющее влияние на советских евреев, как думают западные социологи. Внутренние факторы влияли на них гораздо действеннее. Но эта война существенно изменила политику советских властей и, т.о., повлияла на евреев косвенно.

Паническая реакция советского правительства на победу Израиля выразилась в том, что оно стало представлять его как передовой отряд Западной цивилизации, а Сионистский заговор, как якобы решающий фактор мировой политики.

Только этого советским евреям и не хватало. Наконец-то в мировой истории нашлась для них достойная роль. Стало, наконец, интересно читать советские газеты - всегда найдешь что-нибудь новое об Израиле. Сионизм вместо жалкой разновидности "буржуазного национализма" стал чем-то реально противостоящим омерзевшему "социалистическому лагерю". Молодежь повадилась толпами водить хороводы возле синагог. Возрос интерес к сионистским кружкам и ивриту. И простой народ стал теперь поглядывать на евреев с неким полуодобрением ("вмазали черножопым!").

Партийные пропагандисты называли теперь "сионистским" все еврейское и настойчиво напоминали обрусевшим евреям, кто они на самом деле есть. Антисемитизм никогда не исчезал из российской жизни, но теперь он приобрел остро политический характер и льстящую евреям терминологию. Сотрудники КГБ постоянно клеймили диссидентов сионистами. Один из партийных вождей (кажется, Демичев) в доверительной речи к московскому партийному активу (распространившейся немедленно по всей стране) объяснил, что советскому обществу не так опасны, собственно, "открытые" евреи, как половинки и четвертушки, скрытый "сионизм" которых "не сразу виден"... Если бы в России не было прочной традиции недооценивать интеллект номенклатуры, можно было бы подумать, что они весьма дальновидно перенаправляют назревший социальный конфликт в хорошо им знакомое "национальное" (меж-национальное) русло. Эта политика вскоре принесла плоды.

Я помню, как на какой-то диссидентской сходке в 1968 г. участникам пришла в голову "новая" идея сосчитать число евреев (с вышеупомянутыми демичевскими дробями) среди присутствующих. Оказалось, что их 16 из 20. Стали считать и

подписи под письмами протеста - процент оказался еще выше - 85.

Это произвело впечатление. Известный математик А.Есенин-Вольпин обьявил себя "сионистом" без всякого понятия, что это значит, и несмотря на свое прямое родство с русским национальным поэтом. Поэт Наум Коржавин (Э.Мандель) потребовал "справедливого" участия всех (собственно,двух) национальностей в демократическом движении. Справедливым он предлагал считать соотношение 50:50. Академический перевод "Кумранских свитков" в книжных магазинах раскупили в считанные дни. Редкие люди с семейными еврейскими корнями, говорившие на идиш или помнившие еврейские песни, превратились в желанных гостей во всякой компании. Даже шутки по поводу еврейских ритуальных правил стали редкостью. На интеллигентских пьянках стало модно произносить "оригинальный" тост: "В следующем году - в Иерусалиме!".

"Идея нации неотделима от политического сознания... Нация рождается в воображении, и, ее образ, однажды возникнув (укоренившись в воображении), приспосабливается к внешним условиям, моделирует себя и преображает." (Б.Андерсон, "Воображаемые общности. Происхождение и распространение национализма", Лондон, 1983)

Пусть только термин "воображаемый" не обманывает читателя. Оттого, что нации рождаются как воображаемые общности, они не перестают быть сугубо реальными. Вино и хлеб в церковном ритуале обращаются в кровь и плоть Христа скорее в воображении, чем в их химическом составе, но власть Церкви над миллионами людей реальна. Разницу между сербами, хорватами и боснийцами можно считать воображаемой. Их разные религии и их историческая память не изменили ни их генетику, ни язык. Но их смертельная вражда и гибель десятков тысяч людей более, чем реальны.

Пытаясь понять и объяснить феномены, носящие эмоциональный (и потому неизбежно субъективный) характер, мы невольно рационализируем то, что заведомо иррационально и реально именно поэтому. "Этнос - это свойство вида гомо сапиенс группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и "своих" (иногда близких, а часто довольно далеких) всему остальному миру... Этнические различия не мыслятся, а ощущаются по принципу: это "мы", а все прочие - иные..." [9])

9) ***Л.Гумилев "Древняя Русь и Великая Степь",Москва,1994. И там же: "Нет этноса, происходящего от одного предка. Все этносы имеют двух или более предков."***

Можно было бы подумать, что Лев Гумилев внимательно следил за возникновением сионистских кружков и формированием нового еврейского этноса в России. Одинокие пассионарии, рассеянные репрессиями по всей стране, после Хрущевских реабилитаций снова стали собираться в кружки. Как проницательно отмечал Гумилев, зародыши нового этноса (консорции) подбираются не по сходству взглядов или склонностей (и даже не по этническому родству), а скорее по принципу дополнительности: сионистская одержимость одних дополнялась антисоветской идиосинкразией других и профессиональной неудовлетворенностью третьих. Замкнутые кружки, десятилетиями существовавшие вокруг пассионарных, харизматических фигур (В.Свечинский, М.Гельфанд, Е.Спиваковский) вдруг получили новую жизнь и множество последователей среди технической молодежи и студентов. За считанные месяцы сионисты превратились из периферийной группы диссидентов в широкое и престижное оппозиционное движение. Объявив открытую войну евреям, советское руководство вывело их из подполья и, в сущности, не оставило иного выхода.

Группа обвиняемых на "Ленинградском процессе" уже соединила в себе все элементы, из которых составилось новое движение: Эдуард Кузнецов, прошедший тяжелую школу диссидентства, Марк Дымшиц - смертельно оскорбленный дискриминацией специалист - семья Залмансон - люди с живыми еврейскими корнями и Иосиф Менделевич - человек с религиозной мотивацией.

Субъективные состояния объективно существуют и определяют события. Поэтому я считаю оправданным и конструктивным в научном смысле рассматривать "русских" евреев в Израиле, как вновь возникшую общность, вместо того, чтобы искать едва различимую нить преемственности от наших идишистских предков. В наше время воображаемое то и дело преодолевает действительное. Торжество материализма и устранение религии из сознания масс уравновесилось в XX в. хаотическими прорывами субъективного подхода в политике и психологии народов.

Воображение, т.е. сознание, предопределяющее бытие, социальный протест ("рессентимент") и тяга к неведомому, запретному, а не непосредственная необходимость, привели в конечном счете миллион потомков советских интернационалистов в Израиль, и ничего реальнее этого вклада в историю евреев нельзя вообразить.

Мифология, толкающая людей на решительные действия, вовсе не

обязана быть адекватной. Всякая революция черпает свое вдохновение из мифов, абсолютизирующих и преувеличивающих ее требования. Еврейская революция в России преувеличивала не столько свой национализм, сколько свою интеллектуальность.

Здесь наметилась первая трещина между сионистскими активистами в России и израильским истеблишментом. Израильское правительство, опасаясь международных осложнений и репрессий против евреев, на которые так легки были советские власти, всячески старалось затушевать социальный характер еврейского движения в СССР и старательно подчеркивало исключительно национальный и гуманитарный характер проблемы, избегая всего, что могло бы быть понято как критика советской системы. Напротив, еврейские активисты, почувствовав свою ответственность и международную поддержку (организованную, конечно, из Израиля), все больше склонялись разоблачать тоталитаризм и ассоциироваться с диссидентами-правозащитниками. Осторожная израильская позиция была ими интерпретирована как результат аморального оппортунизма и идеологической близости правящей партии "Авода" к коммунистам.

Миф, который был необходим, чтобы оторваться от материнской почвы, не умер по миновении надобности. На земле, текущей молоком и медом, закономерно обнаружилось то же коренное противоречие между творческим, идеологически мотивированным меньшинством и косной массой (см. выше цитату из А.Тойнби).

В качестве косной массы теперь временами выступал практически весь израильский народ ("они"), который никак не мог взять в толк, что именно российским евреям нужно: "Квартира у вас есть? Работу нашли? Машину купили? ... ??"

- Все это, действительно, появилось у репатриантов первого призыва в среднем за три года. Но им не хватало ... вдохновения.

Революция, совершившаяся на советской почве требовала продолжения. Бывшим диссидентам в Израиле не хватало справедливости. Технократам не хватало технического прогресса. Людям с еврейскими корнями не хватало в стране еврейского

духа (идишкайт). Религиозным неофитам [10]) в еврейском государстве решительно не хватало иудаизма. Сионистские активисты ясно ощущали недостаток сионизма в общественном настроении. Остальные вынуждены были принять одну из этих готовых формул, чтобы как-то обозначить свою недоудовлетворенность ситуацией, хотя зачастую им не хватало и более насущных вещей.

10) ***Для духовно сильного "русского" религиозного меньшинства израильский религиозный истеблишмент оказался также недостаточно духовен.***

Обнаружилось, что пассионарность прибывшей группы намного превышает среднеизраильский уровень.

Первая волна не смогла заметно повлиять на политическую температуру Израиля из-за своей малочисленности. Но миллионная алия 90-х, не принеся новых идей, одним своим количеством воплотила смутную мечту российских сионистов в политическое действие. Первостепенной задачей для русских евреев стало - осознать свой интерес в быстро меняющейся политической ситуации. Бывшие активисты Н.Щаранский, Ю.Штерн, Ю.Эдельштейн, В.Браиловский и выдвинувшиеся в Израиле А. Либерман, Р.Бронфман, М.Нудельман, что бы они ни обещали массовому избирателю, вошли в кнессет с требованиями типичными для квалифицированного меньшинства. Технологический прогресс и модернизация производства и образования, как цель, техническая компетентность и профессионализм, как общественный идеал, всплывают во всех их речах и начинаниях. Эффективность, культура, прогресс (подъем - "алия") - наиболее часто употребляемые ими термины.

В Израиле не было центристской технократической партии до внедрения "русских". В стране не было достаточно избирателей, которых бы такая программа вдохновляла. Технократические требования действительно профессионально важны для более широкого круга "русских" репатриантов, чем это обычно для западных обществ, но характерно, что и вся остальная репатриантская масса готова испытывать энтузиазм по поводу технического прогресса. Для русской алии он составляет ура-идеологию, не требующую разъяснительной пропаганды [11]).

11) ***"Мимезисом достигается конформность нетворческого большинства... Мимезис - это особая форма социальной тренировки, в результате которой большинство рано или поздно оказывается впереди творческого меньшинства..." А.Тойнби "Постижение Истории", Москва, 1991.***

По поводу прогресса и культуры в "русской" группе почти нет расхождений, хотя по всем остальным вопросам она так же расколота как и все остальные в Израиле. Не всякий репатриант из России несет с собой технический прогресс, но почти всякий уверен, что его личные трудности связаны с недостатком этого прогресса в Израиле. Не всякий русский репатриант глубоко заинтересован в культуре, но почти каждый убежден в своем культурном превосходстве. Такая самоуверенность может осложнять жизнь им и их окружению, но она создает в обществе вектор, которого не хватает в благополучных демократических странах. Этот вектор социальной мобильности, направленный в пользу технического совершенствования и бытовой культуры сплошь и рядом оказывается человеческим преимуществом "русской" общины, воздействующим на все израильское общество.

За последние десять лет Израиль уверенно вступил в клуб преуспевающих постиндустриальных держав и вклад русской группы в этот успех оказался решающим. Кальвинистская трудовая этика, принятая среди какой-то части российских выходцев, позволила многим из них почти мгновенно врасти в самые передовые отрасли израильской экономики и культуры. Теперь Израилю предстоит встретиться с теми же проблемами, которые ставят на грань кризиса все страны принадлежащие Западной цивилизации. Вспомним уже цитированного А.Тойнби: "...наука и техника, превращающие знание в силу и богатство ... возникли как результат напряженных усилий творческого меньшинства. Источник нестабильности, угрожающей существованию этой "соли Земли" заключается, как раз, в том, что большинство людей, увы, по-прежнему "пресно"... Внутренней адаптации не происходит. Духовная пропасть между большинством и меньшинством сохраняется. Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, в который упирается Западная цивилизация... Огромные массы народа не выходят из состояния духовной спячки."

Некоторая старомодность "русской" группы, все еще слепо верящей в прогресс, вдохновляющейся техническими успехами, оборачивается сегодня выигрышем для страны. Многолетняя культурная изоляция России привела к философскому отставанию идеологии русских выходцев примерно на сто лет. Это как раз те сто лет, за которые западной культурой была высказана большая часть горьких истин о человеческой природе и технологическом прогрессе.

Жизнь на Ближнем Востоке требует от израильтянина высокой технической конкурентоспособности, а соучастие в западном, "постмодернистском" преуспеянии разрушает его спортивную форму. Безоглядная преданность российских выходцев предшествующему (быть может, и более плодотворному) этапу западной культуры не является злокачественным предрассудком, а скорее естественным защитным механизмом самосохранения группы.

Обществу в целом необходимо адекватное представление о своих свойствах, но для каждого индивида или группы очень плодотворно иметь преувеличенное представление о своих возможностях.

В первом поколении репатриантов современный философский кризис еще не разрушил естественного ощущения собственной ценности и повсеместный "постмодернизм" свободного мира еще не подорвал в них здоровую тенденцию к доминированию.

Напоследок процитируем К.Гирца еще раз: "В современном мире придется оставить большие интегративные идеи, к которым мы так долго привыкали, организуя наши представления о политике и, в частности, о сходстве и различиях между народами и культурами: "традиция", "религия", "национальные ценности". Пересмотренные или новые понятия необходимы, чтобы проникнуть в головокружительную новую гетерогенность и произнести что-нибудь полезное о ее формах. Какая установится общность и какая идентификация еще возникнет в будущем, зависит от баланса, к которому ведет сумма этих взаимодействующих различий."

Творческое напряжение между "мы" и "они", по-видимому, будет еще долго играть заметную роль в психологии репатриантов и определять политические конфигурации, пока наше "мы" окончательно не включит всех израильтян.